

Шарль де Костер

Легенда об Уленшпигеле



Шарль де Костер

Легенда об Уленшпигеле

«Public Domain»

1867

де Костер Ш.

Легенда об Уленшпигеле / Ш. де Костер — «Public Domain»,
1867

Блестящий роман бельгийского писателя Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле», созданный в середине 19 века, прославил фламандскую литературу и стал жемчужиной мировой литературы, навеки полюбившись читателям всех возрастов. Книга повествует о приключениях неугомонного остряка и балагура Тиля Уленшпигеля, а также его друга — доброго толстопузого простака Ламме Гудзака. Для насмешек Тиль не существует преград — он смеется над высокомерием дворян и глупостью черни, проказничает, забавляется и веселит простой народ. Но, несмотря на насмешливый характер, Тиль умеет быть серьезным. В те минуты, когда над его родной Фландрией занесена кровавая рука испанских завоевателей, он становится борцом за счастье и свободу своего отечества.

© де Костер Ш., 1867

© Public Domain, 1867

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ СОВЫ	7
КНИГА ПЕРВАЯ	10
I	10
II	11
III	12
IV	14
V	15
VI	16
VII	17
VIII	20
IX	21
X	22
XI	24
XII	25
XIII	28
XIV	29
XV	30
XVI	31
XVII	32
XVIII	34
XIX	35
XX	37
XXI	38
XXII	39
XXIII	40
XXIV	41
XXV	42
XXVI	44
XXVII	47
XXVIII	49
XXIX	51
XXX	52
XXXI	54
XXXII	55
XXXIII	57
XXXIV	58
XXXV	59
XXXVI	63
XXXVII	65
XXXVIII	66
XXXIX	69
XL	72
XLI	73
XLII	74
XLIII	78
XLIV	80

XLV	81
XLVI	82
XLVII	83
XLVIII	84
XLIX	85
L	87
LI	88
LII	90
LIII	92
LIV	94
LV	96
LVI	97
LVII	98
LVIII	103
LIX	107
LX	109
LXI	110
LXII	111
LXIII	112
LXIV	113
LXV	114
LXVI	115
Конец ознакомительного фрагмента.	116

ШАРЛЬ ДЕ КОСТЕР ЛЕГЕНДА ОБ УЛЕНШПИГЕЛЕ

**и ЛАММЕ ГУДЗАКЕ, ИХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ОТВАЖНЫХ,
ЗАБАВНЫХ и ДОСТОСЛАВНЫХ ВО ФЛАНДРИИ И ИНЫХ СТРАНАХ**

ПРЕДИСЛОВИЕ СОВЫ

Господа художники, государи мои господа издатели, господин поэт¹, я должна сделать вам несколько замечаний касательно вашего первого издания. Как! В этой книжной громадине, в этом слоне, коего вы, в количестве восемнадцати человек, пытались подвинуть на путь славы, вы не нашли самого крохотного местечка для птицы Минервы, мудрой совы, совы благоразумной? В Германии и в этой столь любимой вами Фландрии я непрестанно путешествую на плече Уленшпигеля, который так прозван потому, что имя его обозначает *Сова и Зеркало, Мудрость и Комедия*, Uyl en spiegel. Жители Дамме, – где, говорят, он родился, – по закону стяжения гласных и по привычке произносить «Уу» как «U» произносят «Уленшпигель». Это их дело.

Вы же сочинили другое объяснение: «Ulen (вместо Ulieden) spiegel» – ваше зеркало, ваше, господа крестьяне и дворяне, управляемые и правящие: зеркало глупостей, нелепостей и преступлений целой эпохи. Это было остроумно, но неблагоприятно. Никогда не надо порывать с традицией.

Быть может, вы нашли причудливой мысль воплотить Мудрость в образе птицы мрачной и нелепой – на ваш взгляд, – педанта в очках, балаганного лицедея, любителя потёмок, беззвучно налетающего и убивающего раньше, чем слух уловит его появление: точно сама смерть. И однако, притворно-простодушные насмешники, вы похожи на меня. Разве и среди ваших ночей нет таких, когда рекой лилась кровь под ударами убийства, подкравшегося на войлочных подошвах, чтобы не было слышно его приближения? И разве ваша собственная история не помнит бледных рассветов, тусклым лучом озарявших мостовые, заваленные трупами мужчин, женщин, детей? Чем живёт ваша политика с тех пор, как вы царите над миром? Кровопролитиями и избиениями.

Я, сова, скверная сова, убиваю для того, чтобы жить, чтобы кормить моих птенцов, а не для того только, чтобы убивать. Если вы попрекаете меня тем, что мне случалось сожрать птичий выводок, то не могу ли я попрекнуть вас избиением всего, что дышит на этом свете? Вы наполнили целые книги трогательными рассказами о стремительном полёте птицы, о её любовной жизни, о её красоте, об искусстве вить гнездо, о страхе самки за детёнышей; и тут же пишете, под каким соусом надо подавать птицу и в каком месяце она жирнее и вкуснее. Я не пишу книг, помилуй бог, не то я бы написала, что когда вам не удаётся съесть птицу, то вы съедаете гнездо, лишь бы зубы не оставались без дела.

Что до тебя, неблагоприятный поэт, то ведь тебе выгоднее было указать на моё участие в твоём творении, из коего по малой мере двадцать глав принадлежат мне – прочие оставляю в полную твою собственность. Это ещё наименьшее зло – быть неограниченным владыкой всех глупостей, которые печатаешь. Поэт, ты без разбора обличаешь тех, кого называют палачами родины, ты приговаждаешь Карла V и Филиппа II к позорному столбу истории, – ты не таков, как сова, ты неблагоприятен. Уверен ли ты, что в этом мире уже нет ни Карлов Пятых, ни Филиппов Вторых? Не боишься ли, что внимательная цензура найдёт в чреве твоего слона намёк на знаменитых современников? Зачем ты тревожишь мирный сон этого императора и этого короля? Зачем ты лаешь на таких особ? Кто ищет ударов, от ударов погибнет. Есть люди, которые тебя не простят ни за что, да и я тебя не прощаю, ты нарушаешь моё благополучное мещанское пищеварение.

Что это за упорное противопоставление ненавистного короля, с детства жестокого, – на то ведь он и человек – фламандскому народу, который ты хочешь изобразить нам таким героиче-

¹ «Господа художники... господа издатели, господин поэт». Первое издание «Легенды об Уленшпигеле», вышедшее в 1867 г., иллюстрировали пятнадцать художников. Прибавив к этому числу двух издателей-компаньонов и самого автора «Легенды», получим восемнадцать человек, о которых говорится несколькими строчками ниже.

ским, жизнерадостным, честным и трудолюбивым? Кто сказал тебе, что этот народ был хорош, а король плох? Я могла бы самыми разумными доводами доказать тебе противное. Твои главные действующие лица без исключения дураки или сумасшедшие: твой сорванец Уленшпигель берётся за оружие, чтобы бороться за свободу совести; его отец, Клаас, умирает на костре ради утверждения своих религиозных убеждений; его мать, Сооткин, терзает себя и умирает после пытки, потому что хотела сохранить счастье для своего сына; твой Ламме Гудзак идёт в жизни прямым путём, как будто на этом свете достаточно быть добрым и честным; твоя маленькая Неле всю жизнь – что не так плохо – любит одного человека... Где видано что-нибудь подобное? Я пожалела бы тебя, если бы ты не был смешон.

Однако я должна признать, что рядом с этими нелепыми личностями у тебя можно найти несколько фигур, которые мне по душе. Таковы твои испанские солдаты, твои монахи, жгущие народ, твоя Жиллина, шпионка инквизиции, твой скаредный рыбак, доносчик и оборотень, твой дворянчик, прикидывающийся по ночам дьяволом, чтобы соблазнить какую-нибудь дуру, и особенно этот «умница» Филипп II, который, нуждаясь в деньгах, подстроил разгром святых икон в церквах, чтобы затем покарать за мятеж, коего умелым подстрекателем был он сам. Это ещё наименьшее, что можно сделать, когда ты призван быть наследником своих жертв.

Но, мне кажется, я говорю попусту. Ты, быть может, и не знаешь, что такое сова. Сейчас объясню тебе.

Сова – это тот, кто исподтишка брызжет клеветой на людей, которые ему почему-либо неудобны, и, когда ему предлагают принять на себя ответственность за свои слова, благоразумно восклицает: «Я ничего не утверждаю. *Говорят...*» Он отлично знает, что эти «*говорят*» неуловимы.

Сова – это тот, кто втирается в почтенную семью, ведёт себя как жених, бросает тень на девушку, берёт займы и, иногда не расплатившись с долгами, исчезает, когда больше взять нечего.

Сова – политик, который, надев личину свободомыслия, неподкупности, любви к человечеству, улучив момент, потихоньку возьмёт да и придушит человека или нацию.

Сова – это купец, который подделывает вина и съестные припасы, который вместо питания вызывает несварение, вместо удовольствия – ярость.

Сова – это тот, кто ловко крадёт, так что его не схватишь за шиворот, тот, кто защищает ложь против правды, разоряет вдову, грабит сироту и торжествует в сытости, как другие торжествуют в крови.

«Совиха» или «совица» – как хочешь, без игры слов – это женщина, которая торгует своими прелестями, растлевает лучшие чувства молодых людей, заявляя, что это она их «развивает», и бросает их без гроша в кармане в том болоте, куда втянула их.

Если она печальна иногда, если вспоминает, что она женщина, что она могла бы быть матерью, я её не признаю. Если, истомлённая этим существованием, она бросается в воду, – это сумасшедшая, недостойная жить.

Осмотришься вокруг, захолустный поэт, и пересчитай, если можешь, сов мира сего; подумай, разумно ли нападать, как ты делаешь, на Силу и Коварство, этих царственных сов. Углубись в себя, произнеси твое *Mea culpa* и вымоли на коленях прощение.

Твоё доверчивое неразумие занимает меня, однако; и потому, невзирая на известные мои привычки, я предупреждаю тебя, что предполагаю незамедлительно обличить резкость и дерзновение твоего слога пред моими литературными родичами, сильными перьями, клювами и очками. Люди рассудительные и педантичные, они умеют в самой милой, самой пристойной форме, под всяческими дымками и прикровенностями рассказывать молодёжи любовные истории, родина которых не только Кифера и которые могут в течение одного часа совершенно незаметно «довести до точки» самое целомудренную Агнессу. О дерзновенный поэт, так любя-

щий Рабле² и старых мастеров, эти люди имеют пред тобой то преимущество, что, оттачивая французский язык, они в конце концов сведут его на-нет.

БУБУЛУС БУБ

² *Рабле, Франсуа* (1483–1553) – знаменитый французский писатель эпохи Возрождения, литературная манера и дух произведений которого оказали воздействие на «Легенду об Уленшпигеле» Шарля де Костера.

КНИГА ПЕРВАЯ

I

В городе Дамме во Фландрии³, в ясный майский день, когда распустились белые цветы боярышника, родился Уленшпигель, сын Клааса.

Повитуха, кума Катлина, завернула его в тёплые пелёнки, присмотрелась к его головке и показала на прикрытую плёнкой макушку.

– В сорочке родился, под счастливой звездой, – сказала она радостно.

Но вдруг жалобно застонала и показала чёрное пятнышко на плече ребёнка.

– Ах! – вздохнула она. – Это чёрная отметина чортова когтя.

– Стало быть, – сказал Клаас, – господин Сатана изволил очень рано подняться, если он уже удосужился отметить моего сына.

– Он ещё и не ложился, – ответила Катлина, – Ведь петух только начинает будить кур.

И, положив ребёнка на руки Клааса, она вышла.

Тут заря пробилась сквозь ночные облака, ласточки с криком зареяли над лугами, и солнце в багровом отблеске показало на востоке свой ослепительный лик.

Клаас распахнул окно и сказал Уленшпигелю:

– Сынок мой, в сорочке рождённый! Вот царь-солнце встаёт с приветом над землёй Фландрской. Погляди на него, когда станешь зрячим; и если когда-нибудь, мучимый сомнениями, ты не будешь знать, что делать, чтобы поступить, как должно, спроси у него совета: оно даёт свет и тепло; будь сердцем чист, как его лучи, и будь добр, как его тепло,

– Клаас, мужёк, что ты поучаешь глухого, – сказала Сооткин. – Иди попей, сынок.

И мать протянула новорождённому свои чудесные, природой созданные чаши.

³ Дамме – городок, расположенный в окрестностях большого фландрского города Брюгге. Фландрия – одна из семнадцати областей (провинций) тогдашних Нидерландов, графство. Общее название этих семнадцати провинций, расположенных в низовьях больших европейских рек: Шельды, Рейна и Мааса, – Нидерланды – означает: «низовые земли», понизовье. Нидерланды охватывали в середине шестнадцатого века (время действия «Уленшпигеля») территорию нынешних Бельгии и Голландии, с небольшой частью северной Франции. Вместо «Нидерланды» нередко говорили тогда «Фландрия», распространяя название одной провинции на всю страну. Вот, поименно, эти семнадцать провинций, которые часто, в одиночку или группами, упоминаются в «Уленшпигеле»: герцогства – Брабант, Лимбург, Люксембург и Гельдерн; графства – Артуа, Геннегау, Фландрия, Намюр, Цютфен, Голландия и Зеландия; маркграфство Антверпен и сеньерии: Фрисландия, Мехельн, Утрехт; на незначительной территории Нидерландов (около 78 тысяч кв. км.) жило тогда до 3 миллионов человек в 300 городах и 6500 деревнях.

II

Пока Уленшпигель сосал, прильнув к ней, проснулись все птички в поле.
Клаас, связывая дрова в вязанки, смотрел, как жена кормит Уленшпигеля.

– Жена, – сказал он, – а достаточный у тебя запас этого славного молочка.

– Чаши полны, – ответила она, – но радость моя не полна.

– Не очень-то веселы твои речи в столь возвышенный час.

– Я думаю о том, что в той кошёлке, – видишь, вон там на стене, – уж давно не было ни грошика.

Клаас взял кошёлку в руки, но напрасно тряс он её: не звякнуло в ней ни грошика. Это смутило его. Но он всё же хотел подбодрить жену.

– О чём ты беспокоишься? – сказал он. – Разве нет у нас в хлебном ларе лепёшки, что вчера принесла Катлина? Да не лежит ли там добрый кусок говядины, который уж по меньшей мере на три дня даст мальчику доброго молочка? Уж не голод ли пророчит мешок бобов, улегшийся в углу? Ведь не во сне я вижу этот горшок с маслом? И не волшебные же яблочки, точно солдатики в шеренгах, рядышком дюжинками разложены на чердаке? Ну, а там что – не добрый ли бочонок пивца из Брюгге⁴, хранящий освежительный напиток в своём толстом брюшке?

– Чтобы окрестить ребёнка, – ответила Сооткин, – надо иметь два патара для священника и флорин⁵ на крестины.

Тут вернулась кума Катлина с охапкой травы в руке и сказала:

– Приношу в сорочке рождённому листок дягиля, что хранит человека от распутства, и листок укропа, к которому не смеет приблизиться сатана...

– А траву, что привораживает флорины, не принесла? – спросил её Клаас.

– Нет, – ответила она.

– Ну, пойду погляжу, не найду ли её в канале.

Он взял удочку и сеть и вышел, уверенный, что в такую рань никого не встретит: целый час оставался ещё до l'oosterzon, – так называют во Фландрии шестой час утра.

⁴ *Брюгге* – город на севере Фландрии, связанный судоходным каналом с Северным морем. К началу действия «Уленшпигеля» (1527 г.) Брюгге уже утратил своё значение торговой столицы Нидерландов, уступив это место Антверпену.

⁵ *Патар* – старинная мелкая монета. *Флорин* – золотая монета, в ту пору (в Нидерландах) весом около трёх с четвертью граммов на нашу современную меру.

III

Подойдя к Брюгтскому каналу, недалеко от моря, Клаас наживил удочку, забросил её и закинул сеть. На другом берегу канала лежал на холмике из ракушек хорошо одетый мальчик и спал как убитый.

Шум, произведённый Клаасом, разбудил его, и он вскочил, испугавшись, что это подошёл общинный стражник, чтобы поднять его с ложа и отвести как бродягу к старшине.

Но страх его исчез, когда он узнал Клааса, который крикнул ему:

– Хочешь заработать шесть лиаров⁶? Гони рыбу ко мне!

Мальчик – с уже заметным брюшком – вошёл в воду и, вооружившись пушистым стеблем тростника, стал гнать рыбу по направлению к Клаасу.

Окончив ловлю, Клаас собрал сеть и удочку, перешёл через шлюз к мальчику и спросил его:

– Послушай, тебя окрестили именем Ламме, а прозван ты Гудзак⁷ за своё добродушие; ты живёшь на Цаплиной улице, за собором богоматери? Так как же это вышло, что такой нарядный маленький мальчик спит на улице?

– Ах, господин угольщик, – ответил мальчик, – дома у меня сестра... и хоть она на год моложе меня, но, чуть повздорим, колотит меня, а я не смею отдать её спине то, что получил сам: боюсь сделать ей больно, господин угольщик. Вчера за ужином я был очень голоден и немножко повозился пальцами в блюде тушёного мяса с бобами. Она захотела, чтоб я с ней поделился, а там ведь и для меня одного было мало. Как она увидела, что я облизал губы, потому что мне очень понравилась подлива, – она точно взбесилась: набросилась на меня и таких плюх надавала, что я еле живой удрал из дому.

Клаас любопытствовал, что же делали во время этой потасовки отец и мать.

– Отец похлопал меня по одному плечу, мать – по другому, и оба сказали: «Дай ей сдачи, трусишка». Но я не хотел бить девочку и убежал.

Вдруг Ламме побледнел и задрожал всем телом.

Клаас увидел, что к ним приближается высокая женщина, а с ней худая девочка со злым лицом.

– Ой, – захныкал Ламме и ухватился за штаны Клааса, – это моя мать и сестра ищут меня. Спасите меня, господин угольщик.

– погоди, – сказал Клаас, – получи сперва свои семь лиаров за работу и пойдём без страха к ним навстречу.

Увидев Ламме, мать и сестра набросились на него с побоями: мать – потому, что очень беспокоилась о нём, сестра – потому, что уж так привыкла.

Ламме спрятался за Клааса и кричал:

– Я заработал семь лиаров, я заработал семь лиаров, не бейте меня!

Но мать уже обнимала его, а девочка старалась разжать его кулак и отнять у него деньги. Ламме кричал: «Это моё, не дам!» – и крепко сжимал кулаки.

А Клаас за уши оттащил от него девочку и сказал:

⁶ *Лиар* – мелкая монета. Шесть лиаров составляли денье.

⁷ *Ламме Гудзак*. Имя «Ламме» означает «агнец», «ягнёнок». Ниже Клаас так и характеризует мальчика: «Он ведь добр и кроток, как ягнёнок». Прозвище «Гудзак» состоит из двух частей: «зак» – мешок и «гуд» – добро. Так Ламме, говорит Клаас, прозван за благодушие, мягкий, уживчивый характер, за доброту. Под конец книги Ламме, часто выказывавшему подлинную храбрость, дано прозвище «Ламме-Лев». Соль этого шуточного прозвища в порождаемом им представлении о какой-то помеси льва и ягнёнка.

– Если ты ещё хоть раз ударишь брата, – он ведь добрый и кроткий, как ягнёнок, – то я тебя посажу в чёрную угольную яму. Но там не я тебя буду держать за уши, а придёт красный чорт из ада и разорвёт тебя своими когтями и зубами, длинными, как вилы.

От ужаса девочка не могла поднять глаз на Клааса и подойти к Ламме и спряталась в юбки матери. Но, войдя в город, она стала кричать:

– Угольщик побил меня; у него в погребе чорт!

Однако с тех пор она уже не била Ламме, вместо этого она заставляла его работать на себя. И добродушный малый исполнял охотно всякую работу.

А Клаас отнёс по дороге улов в одну усадьбу, где у него всегда покупали рыбу. И дома сказал жене:

– Смотри, что я нашёл в брюхе у четырёх шук, девяти карпов и в полной корзине угрей. При этом он бросил на стол два флорина и патар.

– Почему ты каждый день не ходишь на рыбную ловлю? – спросила Сооткин.

– А чтобы самому не попасть в сети к общинным стражникам, – ответил Клаас.

IV

В Дамме отца Уленшпигеля, Клааса, называли Kolldraeger, то есть угольщик. У него были чёрные волосы и блестящие глаза; кожа его была под цвет его товара, за исключением праздничных и воскресных дней, когда в его домике было в большом ходу мыло. Был он приземистый, коренастый, крепкий и всегда весело улыбался.

Когда день кончался и спускался вечер, он шёл в какой-нибудь трактирчик по дороге в Брюгге, чтобы промыть свою забитую углем глотку добрым пивком. И по пути все женщины, вышедшие на крыльцо, чтобы подышать свежим воздухом, встречали его дружеским приветом:

– Добрый вечер, светлого пива, угольщик!

– Добрый вечер, бдительного мужа, – отвечал Клаас.

Девушки, возвращаясь толпами с полей, становились рядом, загораживая ему дорогу, и требовали выкупа:

– Что дашь за пропуск: красную ленту или золотые серьги, бархатные сапожки или флорин в кошелёк?

Но Клаас обхватывал какую-нибудь из них руками, целовал её в щеку или шею, смотря по тому, какой кусок этого свежего тела был ближе к его губам, и говорил:

– Остальное, красотки, получите от своих возлюбленных, только попросите.

И девушки разбегались с хохотом.

Дети узнавали Клааса по его звонкому голосу и топоту сапог. Они бежали к нему навстречу и кричали:

– Добрый вечер, угольщик!

– Благослови вас господь, ангелочки, – говорил он, – только близко не подходите, а то я сделаю из вас арапов. Однако малыши, народ отважный, подходили; тогда Клаас хватал смельчака за куртку, проводил своей чёрной пятернёй по его свежей мордочке и так отпускал его, хохоча сам, к великой радости всех ребят.

Сооткин, жена Клааса, была хорошая хозяйка, она вставала с солнцем и хлопотала, как муравей.

Вместе с Клаасом она обрабатывала поле, и оба впрягались в плуг, точно волы. Плуг был тяжёлый, но ещё тяжелее была борона, когда приходилось деревянными зубьями разрыхлять твёрдую землю. Но они работали весело и пели при этом какую-нибудь старинную песню.

И как ни была тверда земля, как ни палило солнце самыми жгучими своими лучами и как от великой усталости не подгибались колени при бороньбе, – если случалось остановиться для передышки, Сооткин поднимала к Клаасу своё кроткое лицо, Клаас целовал это зеркало нежной души, – и они забывали о своей великой усталости.

V

Накануне вечером у дверей ратуши выкликали, что государыня, супруга императора Карла V⁸, затяжелела, а посему надлежит возносить молитвы о благополучном её разрешении от бремени.

Вдруг к Клаасу, вся дрожа, прибежала Катлина.

– Чем так взволновалась, кума? – спросил он,

– Ах! – и она стала бессвязно причитать: – Сегодня... привидения косили людей, как косари траву... Девушек заживо в землю зарывали!.. Палач плясал на их трупах... Камень потел кровью девять месяцев, – в эту ночь он лопнул...

– Милость господня с нами, – вздохнула Сооткин. – Какие чёрные предзнаменования для земли Фландрской!

– Что же ты во сне видела или наяву? – спросил Клаас.

– Наяву, – ответила Катлина.

И, бледная, Катлина, рыдая, продолжала:

– Два ребёнка родилось: один в Испании – инфант⁹ по имени Филипп, другой – во Фландрии, сын Клааса, который позже получит прозвище Уленшпигель. Филипп будет палачом, ибо он порождение Карла Пятого¹⁰, убийцы нашей страны. Уленшпигель станет великим мастером на весёлые шутки и юношеские проказы и будет отличаться добрым сердцем, ибо отец его – Клаас, славный работник, который честным и бодрым трудом умеет добыть свой хлеб. Император Карл и король Филипп¹¹ пройдут через жизнь войнами, поборами и всякими преступлениями, сея зло; Клаас будет безустали работать и всю жизнь проживёт по праву и закону, не плача над своей тяжёлой работой, но всегда смеясь, и останется примером честного фламандского труженика. Уленшпигель будет вечно молод, никогда не умрёт и пронесётся через всю жизнь, нигде не оседая. Он будет крестьянином, дворянином, живописцем, ваятелем – всем вместе. И так он станет странствовать по разным землям, восхваляя всё правое и прекрасное, смеясь во всю глотку над глупостью. О благородный народ Фландрии! Клаас – это твоё мужество; Сооткин – твоя доблестная мать; Уленшпигель – твой дух; нежное, милое создание – спутница Уленшпигеля, подобно ему бессмертная, – твоё сердце, а толстопузый простак Ламме Гудзак – твоё брюхо. Наверху кровопийцы народные, внизу – жертвы; наверху – разбойники, шершни, внизу – работающие пчёлы; а в небесах будут кровью истекать раны христовы.

И, сказав всё это, добрая колдунья Катлина уснула.

⁸ «Супруга императора Карла V» – Изабелла, дочь Мануэля, короля Португалии (с 1495 по 1521 г.), в царствование которого Португалия превратилась в великую колониальную державу.

⁹ *Инфант, инфанта* (по-испански – дитя) – в Испании и Португалии титул, который давали принцам и принцессам королевского дома.

¹⁰ *Карл V* (1500–1558) был избран германским императором в 1519 г. За три года до этого он стал королём Испании под именем Карлоса I.

¹¹ *Филипп II* (1527–1598) – сын императора Карла V, с 1555 г. – король Испании со всеми её колониями и с её европейскими владениями (Нидерланды, Милан, Неаполь, Сицилия и Сардиния).

VI

Понесли крестить Уленшпигеля; вдруг полил проливной дождь, и он весь промок. Так он был окрещён в первый раз.

Когда он был уже в церкви, церковный служка, – он же *shoolmeester*, то есть школьный учитель, – предложил куму с кумой и отцу с матерью стать вокруг купели.

Но в своде над купелью была дыра, которую проделал каменщик, чтобы закрепить лампаду под звездой из вызолоченного дерева. Увидев сверху крёстных, чинно стоящих вокруг прикрытой ещё купели, озорник каменщик вылил сверху на крышку купели ведро воды, которая обрызгала всех, а больше всего Уленшпигеля. Так он был крещён во второй раз.

Пришёл священник; все стали жаловаться, но он велел им поторопиться и сказал, что это случайность. Уленшпигель всё корчился, потому что был мокрый. Священник, окрестив его водою и солью, дал ему имя «Тильберт»¹², что значит «подвижный» или «прыткий». Так он был крещён в третий раз.

Выйдя из церкви, они пошли по Долгой улице, ведущей к трактиру «Бутылочные чётки»¹³, где пивная кружка изображала «Верую». Здесь они выпили семнадцать с лишним пинт¹⁴ *dobbel-kuut*, то есть «двойного» пива. Ибо во Фландрии это общепринятый способ сушить промокших: зажечь в брюхе пивной костёр. Так Уленшпигель был крещён в четвёртый раз.

Когда они возвращались домой, покачиваясь, ибо их головы были тяжелее их тел, им пришлось переходить мостики через лужу. Кума Катлина, несшая ребёнка, оступилась и упала с ним в воду. Так он был крещён в пятый раз.

Его вытащили и дома обмыли тёплой водой. Это было его шестым крещением.

¹² *Тильберт*. Имя Уленшпигеля так же раскрывает существенную особенность его характера, как и имя его друга Ламме Гудзака. Священник, говорится в книге, дал ему имя «Тильберт», что значит «подвижный» или «прыткий». Катлина, «добрая колдунья», пророчесствует о нём, что он «будет странствовать по всем странам» и «пронесётся через всю жизнь, нигде не оседая». Этой внешней подвижности будет соответствовать и непрерывное внутреннее развитие Уленшпигеля от озорника до героя, борца за родину, воплотившего в себе её неукротимую жажду свободы.

¹³ *Тaverna «Бутылочные чётки»*. Католические молитвы читаются молящимися в определённой последовательности. Чтобы не сбиться, прибегают к помощи так называемых чёток – бус, нанизанных на нитку, концы которой связывают. Взяв большую бусину, удерживают её до тех пор, пока не прочтут молитву «Отче наш» (которая на латинском языке, употребляемом в католическом богослужении, называется *Pater noster*), а взяв малую, читают «Богородицу» (*Ave*) – и так всё время, пока не дойдут до крестика – места, где связаны оба конца нитки бус. Тут читают так называемый «Символ веры» (*Credo*), в котором сжато изложены основы всего вероучения. На вывеске таверны, где отпраздновано было рождение Тиля Уленшпигеля, изображены чётки из бутылок, а там, где бусы-бутылки смыкаются, вместо креста намалёвана пивная кружка. Протестанты высмеивали чётки, которые в их глазах были одним из условных знаков (эмблем) католицизма. В дальнейшем читателю встретятся в романе всякие кулинарные сравнения и другие намёки, в которых участвуют чётки.

¹⁴ *Пинта* – мера жидкости; во Франции и Нидерландах – около одного литра.

VII

В этот же день его святейшее величество император Карл V решил устроить празднество, чтобы ознаменовать рождение своего сына. Он, подобно Клаасу, решил поудить, да только не в канаве, а в копилках и кошельках своих подданных. Ибо оттуда обычно выуживают государи рыбок под названием «червонцы», «дукаты», «талеры»; вся эта чудесная рыба имеет свойство, по желанию рыбака, обращаться в бархатные платья, драгоценности, тончайшие вина, изысканные яства. И самые рыбные реки – не самые многоводные.

Обсудив дело со своими советниками, так решил император обставить эту рыбную ловлю.

Между девятью и десятью часами его высочество инфанта понесут к обряду крещения; обыватели Вальядолида¹⁵, чтобы проявить великую свою радость, всю ночь будут веселиться, на свой счёт пировать и праздновать и на Большой площади будут швырять свои деньги беднякам.

На пяти перекрёстках за счёт города пять больших фонтанов вплоть до зари будут бить вином. На других пяти перекрёстках на деревянных подмостках будут развешены всякие колбасы, телячьи и бараньи, кровяные и мясные, бычьи языки и иная мясная снедь – тоже за счёт города.

Граждане Вальядолида – опять-таки за свои деньги – воздвигнут по пути шествия многочисленные триумфальные арки, на коих в живых эмблемах представлены будут образы Мира, Довольства, Изобилия, Богатства и всяческих прочих даров небесных, коими так осчастливило их правление его священного величества.

Наконец, кроме этих мирных триумфальных ворот, будет сооружено ещё несколько других, где, также яркими красками, должны быть изображены несколько менее снисходительные атрибуты власти, каковы – орлы, львы, копья, алебарды¹⁶, дротики с пламенеобразными накопечниками, пушки, аркебузы, бомбарды, широкожерлые мортиры¹⁷ и прочие орудия, наглядно живописующие воинскую мощь и непобедимость его величества.

Свечной *гильдии*¹⁸ всемилостивейше разрешено пожертвовать для освещения храма двадцать с лишним тысяч восковых свечей, коих непотреблённые огарки переданы соборному капитулу¹⁹.

Что касается прочих расходов, то император охотно берёт их на себя, проявляя, таким образом, очевидное желание оградить свои народы от обременительных поборов.

Когда община приготовилась уже исполнить сие повеление, пришли из Рима прискорбнейшие вести. Императорские военачальники, принц Оранский, герцог Алансонский и Фрундсберг²⁰ вторглись в святой город, разграбили и разрушили там церкви, часовни и дома, не щадя

¹⁵ *Вальядолид* – старинный испанский город, в то время – столица Испании.

¹⁶ *Алебарда* – старинное оружие пехотинцев: топор и копье на длинном древке; русское название – бердыш.

¹⁷ *Аркебуз* – старинное фитильное ружье, предшественник менее тяжелого и более точного мушкета. *Бомбарда* – старинная пушка крупного калибра. *Мортира* – артиллерийское орудие с коротким стволом для навесной стрельбы (чтобы ядра падали круче).

¹⁸ *Гильдия* (цех), в средние века – союз купцов или ремесленников, защищавший интересы или особые цеховые права и преимущества своих членов.

¹⁹ *Соборный капитул* – объединение духовных лиц, состоящих при католическом соборе. Члены этих духовных коллегий, обладавших распорядительными и совещательными (при епископе) правами, назывались канониками.

²⁰ *Принц Оранский*. Здесь – Филибер де Шаллон, принц Оранский, выдающийся полководец XVI века (1502–1530). В 1527 г. он взял Рим, разграбил его и заставил папу принять суровые условия; не смешивать с Вильгельмом Оранским. *Герцог Алансонский*. Последний герцог Алансонский умер в 1525 г., и он, следовательно, не мог участвовать в разгроме Рима (1527). Титул этот восстановлен был позднее, а именно в 1570 г. В этом месте – один из частых в «Уленшпигеле» анахронизмов (ошибок в исчислении времени). *Фрундсберг*, Георг (1473–1528) – полководец, которого считают создателем немецкой наёмной пехоты – *ландскнехтов*. Он не участвовал во взятии Рима.

при этом никого – ни священников, ни монахов, ни женщин и детей. Святой отец в заточении. Вот уже неделя, как длится грабёж, *рейтары*²¹ и *ландскнехты* неистовствуют над Римом, обедаются и опиваются, шатаются по улицам, размахивая оружием, разыскивая кардиналов, крича, что они отрежут им лишнюю кожу²², чтобы навеки лишить их возможности пробраться в папы. Другие, уже исполнившие эту угрозу, слонялись по городу, надев на шею по двадцать восемь и более бус – все громадные, как орехи, и все в крови. Некоторые улицы превратились в кровавые потоки, загромождённые ограбленными трупами²³.

Утверждали, что император, имея нужду в деньгах, хотел поживиться на крови духовенства. Одобрив договор, заключённый его военачальниками со взятым в плен папой, Карл потребовал, чтобы папа передал ему все крепости в своих владениях и уплатил ему четыреста тысяч дукатов²⁴. Пока эти условия не будут выполнены, папа остаётся в заключении.

Однако печаль его величества была безмерна. Император отменил все торжества, празднества, увеселения²⁵ и повелел всем кавалерам и дамам своего двора одеться в траур.

И инфант был крещён в белых пелёнках – знак императорского траура.

Придворные кавалеры и дамы истолковали это как зловещее предзнаменование.

Несмотря на это, её милость госпожа кормилица представила инфанта придворным кавалерам и дамам, дабы они, по исконному обычаю, могли принести новорождённому свои пожелания и подарки.

Госпожа де ла Сена повесила ему на шею предохраняющий от яда чёрный камень видом и величиной с орех, в золотой скорлупе. Госпожа де Шеффад повязала ему на живот шелковинку и подвесила к ней лесной орешек, что содействует хорошему пищеварению. Господин ван-дер-Стин из Фландрии преподнёс ему гентскую колбасу в пять локтей длины и поллоктя толщины, всепреданнейше пожелав его высочеству, чтобы один запах этой колбасы возбуждал в нём жажду к гентскому доброму пиву *clauwaert*, ибо, сказал он, кто любит пиво из какого-нибудь города, тот уж не может ненавидеть тамошних пивоваров. Господин конюший Хаиме-Христофор Кастильский просил господина инфанта носить на его прекрасных ножках камешки зелёной яшмы, которые сообщают лёгкость и быстроту. Ян де Папе, шут, присутствовавший при этом, заметил однако:

– Сударь! Поднесите ему лучше трубу Иисуса Навина²⁶, при звуке которой бежали бы пред ним все города, чтобы унести куда-нибудь своё добро вместе со всеми обитателями – мужчинами, женщинами и детьми. Ибо его высочеству нет нужды учиться бегать, а надо других обращать в бегство.

Безутешная вдовица Флориса ван-Борселе, который был губернатором Веере в Зеландии, поднесла его королевскому высочеству камень, который – по ее словам – делал мужчин влюблёнными и женщин безутешными.

Но ребёнок ревел, как бычок.

²¹ *Рейтары* – наёмные конные войска.

²² *Кардиналы* – высшие священники католической церкви, из числа которых избирались папы. «...разыскивая кардиналов, крича, что они им отрежут лишнюю кожу» – непристойный намёк на запрещение избирать в папы кастрата.

²³ *Разгром Рима* произошёл в мае 1527 г. Карл V, из политических соображений свирепо расправляясь с протестантами в Нидерландах, вступал с ними в союз в Германии. Он выдавал себя за ревностного католика, но не остановился перед разграблением Рима и арестом папы Клементя VII, который только спустя семь месяцев, переодетый, спасся бегством из заточения. Сын императора, Филипп II, тоже воевал с папой, и оба они, и Филипп и Карл, годами бывали отлучены от церкви.

²⁴ *Дукат* – золотая монета, вес которой императорским постановлением 1559 г. был определён без малого в три с половиною грамма на нашу меру.

²⁵ «*Император отменил все торжества*» – вернее, они были перенесены с 25 июня 1527 г. (дня крещения инфанта) на 19 апреля следующего года, когда Филипп был торжественно провозглашён законным наследником престола.

²⁶ *Труба Иисуса Навина* – от её звука, по библейскому преданию, обрушились крепостные стены Иерихона.

В это время Клаас сплёл из прутьев сыну погремушку с бубенцами и подбрасывал Уленшпигеля на руке, приговаривая в лад: «Бом-бом-дилинь-бом! Будь всегда с бубенцом, будь весёлым молодцом. Шутники живали господами в старое доброе время».

И Уленшпигель смеялся.

VIII

Клаас поймал большую лососку, и в воскресенье ею пообедали и он, и Сооткин, и Катлина, и маленький Уленшпигель. Но Катлина ела, как птичка.

– Кума, – сказал ей Клаас, – неужто воздух Фландрии стал так густ, что достаточно вдохнуть его, чтобы насытиться, словно мяса поел? Хорошо было бы! Дождь сошёл бы за добрую похлёбку, град – за бобы, а снег – за небесное жаркое, обновляющее силы путников.

Катлина кивнула головой, но не сказала ни слова.

– Посмотрите-ка на бедную куму, – сказал Клаас, – чем это она так огорчена?

Но Катлина отвечала голосом, подобным вздоху:

– Нечистый! Чёрная ночь пришла. Слышу всё ближе, всё ближе. Орлом клекочет... Дрожу вся, молю деву святую... смилостивься... Всё напрасно... Нет для него ни стен, ни оград, ни дверей, ни окон. Пробирается всюду, точно дух... Скрипит лестница... Вот взобрался ко мне на чердак, где сплю, схватил руками – твёрдые, холодные, как камень. Лицо ледяное. Целует – мокрый, точно снег. Земля под ногами так и ходит; пол качается, как челнок в бурю...

– Каждое утро ходи в церковь, – сказал Клаас, – моли Христа спасителя об избавлении от духа преисподней...

– Он такой красавчик, – сказала она.

IX

Уленшпигель, отнятый от груди, рос, как молодой тополёк.

Клаас уже не так часто целовал его, но, любя его, делал строгое лицо, чтобы не избаловать мальчика.

Когда Уленшпигель приходил домой и жаловался на синяки, полученные в товарищеской потасовке, Клаас давал ему подзатыльник за то, что он сам не вздул других, и при таком воспитании Уленшпигель стал смел, как львёнок.

Если отца не было дома, Уленшпигель просил у матери лиар на игру. Сооткин сердилась и говорила:

– Что там за игры? Сидел бы лучше дома, щенок этакий, вязал бы вязанки.

Уленшпигель, видя, что ничего не получит, подымал дикий крик, но Сооткин гремела своими горшками и сковородками, которые мыла в лохани, делая вид, что ничего не слышит. Уленшпигель начинал реветь, и тогда мать отказывалась от своего притворного жестокосердия, гладила его по головке и говорила: «Довольно с тебя денье?» А надо вам знать, что в денье шесть лиаров.

Так проявляла она свою чрезмерную любовь, и, когда Клаас уходил куда-нибудь, Уленшпигель верховодил в доме.

Х

Однажды утром Сооткин увидела, что Клаас шагает по кухне с понурой головой, совершенно поглощённый какими-то мыслями.

– Чем огорчён ты, милый? – спросила она. – Ты бледен, раздражён и рассеян.

Клаас ответил тихо, тоном ворчащей собаки:

– Опять собираются восстановить эти свирепые императорские указы. Снова смерть пойдёт гулять по Фландрии. Доносчики получают половину имущества своих жертв, если их состояние не превышает ста флоринов.

– Мы с тобой бедняки, – заметила она.

– Им и это пригодится. Есть мерзавцы, коршуны и вороны, живущие стервятиной, которые и на нас рады донести, чтобы разделить с его святейшим величеством мешок угольев, точно мешок червонцев. Много ли было у несчастной Таннекен, вдовы портного Сейса, умершей в Гейсте, где её живую закопали в землю? Латинская библия, три золотых да немножко утвари из английского олова²⁷, которая приглянулась её соседке. Иоанну Мартенс сожгли как ведьму, сначала её бросили в воду, но она, видишь ли, не тонула, – и в этом было всё её преступление. У неё было два-три колченогих стула и семь золотых в чулке; доносчик захотел получить половину. О, я мог бы рассказывать тебе до завтра. Но надо убираться, милая: после этих указов невозможно жить во Фландрии. Скоро каждую ночь будет ездить по городу возок смерти, и мы услышим, как в нём будет стучать её сухой костяк.

– Не пугай меня, милый муж, – ответила Сооткин. – Император – отец Фландрии и Брабанта и, как отец, полон терпения и сострадания, милосердия и снисхождения.

– Это ему очень невыгодно, – ответил Класс, – ибо конфискованное имущество идёт в его пользу.

Вдруг затрубила труба, прогремели литавры городского глашатая. Клаас и Сооткин, поочерёдно передавая Уленшпигеля друг другу на руки, бросились вслед за толпой народа.

Перед городской ратушей они увидели конных глашатаев, которые трубили в трубы и били в барабаны, профоса²⁸ с судейским жезлом, верхом на коне, и общинного прокурора, который обеими руками держал императорский указ²⁹, готовясь прочесть его толпе.

И тут услышал Клаас, что отныне всем вообще и каждому в отдельности воспрещается печатать, читать, хранить и распространять все писания, книги и учения Мартина Лютера, Иоанна Виклифа, Иоанна Гуса, Марсилия Падуанского, Эколампадия, Ульриха Цвингли, Филиппа Меланхтона, Франциска Ламберта, Иоанна Померана, Оттона Брунсельзиуса, Иоанна Пупериса, Юстуса Иоанаса и Горциана³⁰, книги Нового Завета, напечатанные у Адриана де

²⁷ «Утварь из английского олова» – высоко ценилась в ту пору как нержавеющая. Со времён древнего Рима олово вывозилось из Британии.

²⁸ Профос – начальник полиции.

²⁹ Императорский указ, о котором идёт речь, был издан 25 сентября 1550 г. Народ прозвал его «кровавым указом». Хотя указ этот издан значительно позднее, чем указано в «Легенде об Уленшпигеле», но он замыкал собой длинную цепь правительственных постановлений против еретиков, постановлений, которые начали издаваться действительно в пору детства Тиля Уленшпигеля.

³⁰ Мартин Лютер (1483–1546) – основатель протестантской церкви в Германии. Родился в семье рудокопа, окончил Эрфуртский университет, в 1505 г. принял монашество и вскоре после того стал священником. В 1517 г. вывесил на дверях церкви в Виттенберге 95 тезисов, направленных против католичества. В 1520 г. был отлучён папой. В 1523 г. снял с себя монашеский сан. В 1525 г. враждебно выступил против восставших крестьян, призывая «резать, колоть, душиť их, как бешеных собак». В последующие годы был занят ревностным насаждением протестантизма (лютеранства) в Германии и укреплением теоретико-богословской основы новой религии. Задачей лютеранства было переустройство феодально-католической церкви, приспособление её к потребностям нового общества, где буржуазия начинала играть всё более видную роль. Иоанн Виклиф – английский священник, выдающийся предтеча европейской реформации. Родился, предположительно, в 1324 г., умер в 1384 г. По приговору католического вселенского собора в Констанце, объявившего Виклифа посмертно вероотступником,

Бергеса, Христофа да Ремонда и Иоанна Целя, поелику таковые исполнены лютеровых и иных ересей и осуждены и прокляты богословским факультетом в Лувене.

«Равным образом воспрещается неподобающе рисовать или изображать или заказывать рисунки с неподобающими изображениями господ бога, пресвятой девы Марии или святых угодников, равно как разбивать, разрывать или стирать изображения или изваяния, служащие к прославлению, поминанию, чествованию господ бога, пресвятой девы Марии или святых угодников, признанных церковью».

«Вообще да не дерзнёт никто, – продолжал указ, – какого бы он ни был звания и состояния, рассуждать или спорить о священном писании, даже о сомнительных течениях такового, если только он не какой-нибудь известный и признанный богослов, получивший утверждение от какого-либо знаменитого университета».

Среди прочих наказаний, установленных его святейшим величеством, определялось, что лица, оставленные под подозрением, лишаются навсегда права заниматься честным промыслом. Упорствующие в заблуждении или вновь впавшие в него подвергаются сожжению на медленном или быстром огне, на соломенном костре или у столба – по усмотрению судьи. Прочие подвергаются казни мечом, если они дворяне или почтенные граждане; крестьяне – повешению, женщины – погребению заживо. Как предостерегающий пример головы казнённых будут выставлены на столбе. Имущество всех этих казнённых преступников переходит в собственность императора, если таковое находится в областях, доступных конфискации.

Его святейшее величество предоставляет доносчикам половину всего принадлежащего осуждённым, если всё достояние последних не превышает ценностью ста фландрских червонцев. Всё доставшееся на долю императора он передаёт на цели благотворения и благочестия, как он сделал это с римскими сборами.

И Клаас, удручённый, ушёл с площади вместе с Сооткин и Уленшпигелем.

кости его были выкопаны и сожжены (в 1428 г.). *Иоанн Гус* (1369–1415) – чешский реформатор и выдающийся национальный деятель Чехии. Он много содействовал развитию чешского языка и дал чехам новую орфографию, с некоторыми изменениями удержавшуюся до нашего времени. Сожжён по приговору Констанцского собора как еретик. *Эколампадий* – швейцарский реформатор (1482–1531), соратник Цвингли (см.). *Гульдрих Цвингли* – швейцарский реформатор (1484–1531), писавший и проповедывавший в Цюрихе и Берне. Пал жертвой крестового похода католических кантонов против Цюриха. Труп его был растерзан папистами и сожжён. *Филипп Меланхтон* – немецкий реформатор (1497–1560), соратник Лютера и глава реформации после его смерти, преобразователь школьного и университетского преподавания в Германии. *Иоанн Померан*, или *Бугенхаген* (1485–1552) – немецкий реформатор, сыгравший крупную роль в распространении лютеранства на севере Германии, а также в Скандинавских странах. *Юстус Ионас* (1493–1555) – один из ревностнейших сотрудников и друзей Лютера в деле реформации. *Марсилиус Падуанский*, *Франциск Ламберт*, *Оттон Брунсельзиус*, *Иоанн Пуперис*, *Горциан* – второстепенные деятели реформации в различных странах, перечисленные в указе Карла V от 25 сентября 1550 г., изданном в г. Аугсбурге и подтверждённом Филиппом II спустя шесть лет.

XI

Год был удачный. Клаас купил за семь флоринов осла и девять мерок гороха и однажды утром собрался в дорогу. Уленшпигель сидел на осле сзади, держась за отца. Так отправились они в путь, в гости к дяде Уленшпигеля, старшему брату Клааса, Иосту, который жил неподалеку от Мейборга в немецкой земле.

Некогда, в цвете лет, Иост был добродушен и мягкосерд. Но потом, испытав много несправедливостей, он озлобился. Его кровь почернела от желчи, и, возненавидев людей, он жил в одиночестве.

Он любил поссорить двух так называемых верных друзей; и жаловал три патара тому из двух, которому удавалось крепче отлупить другого.

Он устраивал себе также такое развлечение: собирал в хорошо истопленной комнате кучу самых старых и самых злобных сплетниц и угощал их печеньями и сладким вином.

Тем, которым было больше шестидесяти лет, он давал прясть шерсть, предупреждая при этом, чтобы они отпускали себе ногти подлиннее. Он с восхищением слушал, как эти старые совы изливали яд, болтая своими злыми языками, клевета на весь мир, хихикали, кричали, плевали, держа свою прялку подмышкой и теребя зубами доброе имя ближнего.

Когда они приходили в особый раж, Иост брал щётку и бросал в огонь: щетина загоралась, и зловоние становилось невыносимым.

Старухи нападали друг на друга с обвинениями в этой вони, кричали все разом, каждая винила другую, и, наконец, все они вцеплялись друг другу в волосы. Но Иост ещё подсыпал щетины в огонь и на пол. Когда от этой свалки, воя, дыма и пыли ничего уже разобрать было нельзя, он призывал двух своих работников, одетых как городские стражники: они набрасывались на старух, колотили их что было сил и палками выгоняли их из комнаты, точно стадо разъярённых гусей.

Иост осматривал поле битвы, покрытое лоскутами юбок, чулок, рубах и старушечьими зубами.

И грустно говорил себе:

«Потерял день. Ни одна из них не оставила в драке своего языка».

ХII

Проезжая Мейборгскую округу, Клаас должен был пересечь маленький лесок. Осёл по дороге кормился колючками, Уленшпигель бросал шапкой в бабочек и тут же ловил их, не слезая с своего места на спине осла. Клаас жевал ломоть хлеба, мечтая оросить его пивом в ближайшей корчме. Вдруг издали послышался звон колокола и шум, похожий на говор целой толпы.

– Верно, богомольцы, – сказал он, – и не в малом количестве. Держись, сынок, крепче на ослике, чтобы не свалиться. Посмотрим. Вперёд, серячок, живее!

И осёл пустился рысью.

Выехав из рощицы, они спустились к полю, с запада окаймлённому рекой. С другой стороны оказалась часовня, на крыше которой возвышалось изваяние божьей матери, а у ног её две статуэтки, изображавшие бычков. На ступенях часовни стоял отшельник, с хохотом звонивший в колокол, а вокруг него с полсотни прислужников – каждый с зажжённой свечкой в руке, потом музыканты, звонари, барабанщики, трубачи, свирельщики, дудочники, волынщики и ещё несколько весёлых парней с жестяными ящиками в руках, полными железного лома; но пока все были неподвижны и безмолвны.

По дороге тесными рядами, по семь человек, подвигались пять или более тысяч богомольцев, все в шлемах и с палками в зелёной коре. Иногда со стороны появлялись новые, тоже в шлемах и с палками; они с шумом присоединялись к остальным. Так проходили они рядами мимо часовни, где подносили свои палки под благословение, получали из рук прислужников свечу и за это уплачивали отшельнику по полфлорина.

И шествие их было так длинно, что у первых уже давно догорели свечи, когда у последних они ещё еле разгорались от избытка сала.

Клаас, Уленшпигель и осёл с изумлением смотрели на это великое разнообразие животных, длинных, широких, высоких, остроконечных, стройных, важных или же вяло свисавших на свои природные подпорки. И на всех паломниках были шлемы.

Одни, вывезенные из Трои³¹, были подобны фригийским колпакам³²; другие – с красными конскими хвостами; были и с распростёртыми орлиными крыльями, хотя не похоже было на то, что надевшие их толстомордые брюханы собираются лететь ввысь. Потом шли те, у которых на голове был такой салат, от которого, за скудостью зелени, даже улитки отвернулись бы с презрением.

На большинстве же были старые ржавые шлемы, напоминавшие времена Гамбривиуса³³, древнего короля Фландрии и пива; сей король жил за девятьсот лет до рождества христового и вместо шлема носил пивную кружку, боясь, как бы ему за отсутствием сосуда не пришлось отказаться от выпивки.

Вдруг загремели, завизжали, засвистели, зашипели, затрещали, загудели, забарабанили колокола, волынки, дудки, литавры, железки.

Богомольцы, видимо, ожидали этого грохота; вдруг они повернулись, стали один против другого и принялись жечь друг другу свечами лица. Поднялось чихание, заговорили палки. Они колотили друг друга ногами, головой, каблуками, чем попало. Одни, надвинув шлемы до плеч, ринулись головами на своих противников, точно бараны, и в ослеплении наткнулись на семёрку разъярённых богомольцев, которые отвечали им тем же. Другие, плаксы и труссы, ску-

³¹ Троя – древний город-государство в Малой Азии, прославленное героическим эпосом греков (Илиада).

³² Фригия – область в Малой Азии, границы которой много раз изменялись (по побережью Эгейского, Мраморного и Чёрного морей). Фригийские колпаки имели загнутый вперёд верх.

³³ Гамбривиус, чаще Гамбриус – сказочный король Фландрии, которому приписывалось изобретение пива.

лили от колотушек, но пока они жалостно выли: «Помилуй, господи», две дерущиеся семёрки богомольцев молнией набросились на них, смяли, повалили и безжалостно пошли дальше, топчя поверженных на землю плакс.

А отшельник смеялся.

Другие семёрки, сплетясь, точно виноградные гроздья, катились по откосу вниз в речку и там продолжали с остервенением драться, не охладив своей ярости.

А отшельник смеялся.

Те, что остались наверху, выбивали друг другу зубы, подставляли синяки под глаза, вырывали волосы, в клочья теребили камзолы и штаны.

И отшельник со смехом взывал:

– Валяй, ребята, кто крепче бьёт, крепче любит. Забияки бабам сладки. Воззри, мать божья риндбибельская: вот самцы так самцы!

Это, видимо, было очень приятно богомольцам.

Между тем Клаас приблизился к отшельнику, оставив Уленшпигеля, который при виде драки хохотал и хлопал в ладоши.

– Отец, – спросил Клаас, – чем согрешили эти бедняки, что вынуждены так жестоко колотить друг друга?

Но отшельник не слушал его и кричал:

– Бездельники! Не падать духом! Если изнемогли ваши кулаки, то не устали ноги, слава богу. На то и даны вам они, чтобы удирать. Кто выбивает огонь из камня? Сталь, бьющая по камню! Что может оживить мужские способности стареющих людей лучше, чем добрая толика ударов, раздаваемых в мужественном гневе?

И доблестные богомольцы продолжали обрабатывать друг друга руками, ногами и головами. В этой дикой воющей схватке и сам стоглазый Аргус³⁴ не разглядел бы ничего, кроме облака пыли да кончика шлема.

Вдруг отшельник зазвонил в колокол. Барабанщики, дудочники, свистуны, трубачи, волынщики, дребезжалыщики прекратили гам. Это был знак мира.

Богомольцы подбирали своих раненых. У некоторых висели изо рта распухшие от гнева языки, которые потом сами влезли обратно в своё логовище. Труднее всего было тем, которые так надвинули шлемы на головы, что не могли их стащить. Они трясли головой, но шлемы держались крепче, чем зелёные сливы на ветке.

Тогда отшельник крикнул:

– Теперь пусть каждый пропоёт Ave³⁵, и идите к своим жёнам. Через девять месяцев в округе будет столько новорождённых, сколько было сегодня храбрых бойцов.

И отшельник затянул «Богородицу», прочие подхватили. А колокол звонил.

Затем отшельник призвал на них благословение матери божьей риндбибельской и сказал:

– Идите с миром.

И они с криком, гамом и пением ринулись в той же суতোлке обратно в Мейборг. Старые и молодые жёны ждали их на пороге дома, куда они ворвались, точно орда солдат в приступом взятый город.

Колокола в Мейборге звонили во-всю, а мальчишки свистели, орали и гремели в gommel-pot.

Кружки, рюмки, стаканы, бокалы, бутылки сладостно звенели. И вино ручьями лилось по глоткам.

³⁴ Аргус, по прозвищу «Всевидец» – герой греческой мифологии, которому приписывали сто глаз, из коих пятьдесят бодрствовали, если другие пятьдесят отдыхали. Образ бдительности.

³⁵ Ave – католическая молитва, соответствующая православной «Богородице дево, радуйся».

Пока шёл этот трезвон и ветер доносил из города пение мужчин, женщин и детей, Клаас, подойдя к отшельнику, стал его расспрашивать, какую божественную милость надеялись снискать эти люди столь суровым искусом.

Отшельник, смеясь, ответил:

– Видишь на крыше часовни две фигуры быков? Это память о чуде святого Мартина, который превратил двух волов в бугаёв, заставив их бодаться друг с другом. Затем он в течение часа мазал им морды сальной свечой и тёр зелёной корой. Зная об этом чуде, я купил за хорошие деньги у его святейшества патент³⁶ и поселился здесь. С тех пор все мейбургские толстяки и старикашки убеждены, что с моей помощью получают милость богородицы, если хорошенько подерутся между собою со свечкою в руках – это память о помазании – и с палкой – эмблемой мощи. Женщины посылают сюда своих старых мужей. Дети, рождённые после этого паломничества, сильны, смелы, дики, живы, словом, хорошие солдаты.

Вдруг отшельник взглянул на Клааса.

– Ты меня узнаёшь?

– Да, – сказал тот, – ты брат мой Иост.

– Верно, – ответил отшельник, – а что это там за малыш, который строит мне рожи?

– Это твой племянник, – сказал Клаас.

– А как велика, по-твоему, разница между мною и императором Карлом?

– Очень велика, – ответил Клаас

– Нет, очень невелика, – возразил Иост. – Он заставляет людей убивать друг друга, а я их заставляю только драться: и оба мы делаем это для нашей пользы и удовольствия.

Затем он повёл их в свою хижину, и там они угощались и пировали одиннадцать дней.

³⁶ «...я купил за хорошие деньги у его святейшества патент» – то есть папское разрешение, здесь – на эксплуатацию «чуда св. Мартина». Католическая церковь изощрялась в изобретении всевозможных способов выкачивания народных средств. Огромные прибыли давала, например, выдача патентов на нарушение постов, так что Филипп II мог лично запроектировать на 1560–1561 годы получение полумиллиона дукатов как долю государства только по этой статье.

ХІІІ

Расставшись с братом, Клаас уселся опять на осла и сзади посадил Уленшпигеля. Проезжая через Мейборг, он заметил, что стоящие на Большой площади во множестве богомолыцы при виде его приходят вдруг в ярость, грозят своими палками и кричат: «Негодяй!» Причиной оказался Уленшпигель, который, расстегнув штанишки и подняв рубашонку, показывал им некую часть тела.

Заметив, что угрозы обращены к его сыну, Клаас спросил:

– Что такое ты делаешь, что они так сердятся на тебя?

– Дорогой батюшка, – ответил Уленшпигель, – я сижу себе на ослике, ни с кем не говорю ни слова, а они бранят меня негодяем.

Тогда Клаас пересадил его вперёд.

Уленшпигель стал показывать богомольцам язык. Они ругались, потрясали палками, грозили кулаками и чуть не побили Клааса и осла.

Но Клаас погнал осла рысью, так что дух захватило, и, пока за ними гнались, он обратился к сыну:

– Видно, ты родился в несчастный день. Сидишь передо мной, никого не трогаешь, а они задушить тебя готовы.

Уленшпигель засмеялся.

Проезжая через Льеж³⁷, Клаас узнал, что в приречной области жители страдали от голода и были подчинены суду официала³⁸, состоящему из лиц духовного звания. Они восстали, чтобы добиться хлеба и светских судей. Одних повесили, другим отрубили головы, третьи пошли в изгнание, ибо так велика была милость его высокопреосвященства господина де ла Марка, мягкосердечного архиепископа.

Клаас видел по дороге изгнанников, бежавших из тихой льежской стороны, и на деревьях под городом видел трупы людей, повешенных за то, что им хотелось есть. И он заплакал над ними.

³⁷ *Льеж*, тогда – богатое духовное княжество, теперь – бельгийский город.

³⁸ *Официалами* в католической церкви назывались должностные лица, облечённые церковно-судебной властью.

XIV

Приехав на своём осле домой, Клаас привёз с собой полный мешок денег, полученный от брата Иоста вместе с кружкой из английского олова. Теперь в доме не прекращались воскресные угощения и ежедневные пиршества, ибо изо дня в день ели мясо и бобы.

Клаас часто наполнял свою большую кружку английского олова добрым пивом *dobbelkuut* и выпивал её до дна.

Уленшпигель ел за троих и возился в миске, точно воробей в куче зерна.

– Смотри, – говорил Клаас, – он, чего доброго, и солонку съест.

– Если солонка сделана, как наша, из хлебной корки, – отвечал Уленшпигель, – то её и надо почаще съедать, а то в ней черви заведутся.

– Зачем ты вытираешь жирные пальцы о свои штаны? – спрашивала мать.

– Чтобы они не промокали, – отвечал Уленшпигель.

В это время Клаас хватил здоровый глоток пива из своей кружки.

– Отчего у тебя такая большая кружка, а у меня такой маленький стаканчик? – спросил Уленшпигель.

– Оттого, что я твой отец и хозяин в доме, – ответил Клаас.

Но Уленшпигеля этот ответ не удовлетворил.

– Ты пьёшь уже сорок лет, а я только девять. Твоё время пить уже проходит, а моё только начинается. Стало быть, мне полагается кружка, а тебе стаканчик.

– Сын мой, – поучал его Клаас, – кто хочет влить бочку в бутылку, тот прольёт своё пиво в канаву.

– А ты будь умён и лей свою бутылку в мою бочку: я ведь больше твоей кружки, – отвечал Уленшпигель.

И Клаас, довольный, дал ему выпить свою кружку. Так Уленшпигель научился балагурить ради выпивки.

XV

Пояс Сооткин показывал, что ей предстоит вновь стать матерью. Катлина также была беременна, и от страха она не смела выйти из дому.

Пришедшей к ней Сооткин она жаловалась, истомлённая и расплывшаяся:

– Что делать мне с этим злополучным плодом моего чрева? Задушить, что ли? Ах, лучше бы мне умереть! А то стражники уличат меня в том, что у меня ребёнок, схватят и сделают, как со всякой распутницей: двадцать флоринов штрафа возьмут и высекут на Рыночной площади.

Сказав ей несколько ласковых слов в утешение, Сооткин распростилась с нею и в раздумьи пошла домой. И однажды она спросила мужа:

– Что, Клаас, если у меня вместо одного родится двойня, ты не побьёшь меня?

– Не знаю, – ответил Клаас.

– А если этот второй будет не от тебя, а, как у Катлины, от неизвестного, быть может, от дьявола?

– Дьяволы, – ответил Клаас, – рождают огонь, смерть, дым, но не детей. Ребёнка Катлины я бы принял как своего.

– Неужели принял бы?

– Говорю ж тебе, – отвечал Клаас.

Сооткин пошла к Катлине и рассказала ей об этом. Услышав это, Катлина была вне себя от счастья и радостно восклицала:

– Так он сказал? О благодетель! Его слово – спасение моего бедного дитяти! Господь его благословит, и дьявол его благословит, если, – продолжала она с дрожью, – если дьявол породил тебя, бедное дитя, что шевелишься в моём чреве.

И Сооткин и Катлина родили: первая – мальчика, вторая – девочку. Обоих понесли крестить как детей Клааса. Сын Сооткин назван был Ганс и скоро умер. Дочь Катлины получила имя Неле и была здоровенькая.

Из четырёх молочных бутылей пила она напиток жизни: из грудей Сооткин и грудей Катлины. И обе женщины тихо спорили, кто даст дитяти попить. Но, несмотря на своё желание, Катлина вынуждена была засушить свою грудь, чтобы никто не мог спросить, откуда у неё молоко, если она не была матерью.

Когда маленькую Неле отняли от груди, она взяла её к себе и пустила к Сооткин лишь тогда, когда дочь стала называть её «мама».

Соседи находили, что Катлина хорошо делает, взяв к себе на воспитание ребёнка Клаасов: она женщина с достатком, а Клаасы ведут бедную, трудовую жизнь.

XVI

Как-то утром, сидя дома и скучая, Уленшпигель ковырял отцовский башмак, мастера себе из него кораблик. Он уж воткнул в подошву грот-мачту и продырявил носок, чтобы закрепить там бугшприт, как вдруг в двери показалась верхняя часть тела всадника и голова лошади.

– Есть здесь кто-нибудь? – спросил всадник.

– Есть, – отвечал Уленшпигель, – полтора человека и лошадиная голова.

– Как это? – спросил тот.

– Да вот как: целый человек – это я; половина другого человека – это ты; а лошадиная голова – у твоей кобылы.

– Где твои отец и мать?

– Мой отец работает: роет яму ближнему, а мать старается принести нам стыд или вред.

– Говори яснее, – сказал проезжий.

Уленшпигель ответил:

– Отец в поле, копает ямы, чтобы охотники, что топчут наш посев, попали туда. Мать ходит и ищет, где бы занять денег: если она возвратит слишком мало, будет нам стыдно; если отдаст слишком много, будет нам вредно.

Всадник спросил его, где дорога.

– Там, где ходят гуси, – ответил Уленшпигель.

Проезжий скрылся, но когда Уленшпигель из второго башмака Клааса соорудил гребную галеру, он появился вновь.

– Ты обманул меня, – сказал он, – там, куда ты послал меня, нет ничего, кроме грязи и навоза, в котором копошатся гуси.

Уленшпигель ответил:

– Я послал тебя не туда, где гуси «копошатся», а туда, где они «ходят».

– Ну, покажи, наконец, дорогу, которая идёт в Гейст.

– Во Фландрии ходят люди, а не дороги, – ответил Уленшпигель.

XVII

Как-то Сооткин говорит Клаасу:

– Послушай, муж, у меня душа изныла от беспокойства: вот уж три дня как Тиля нет дома. Не знаешь ли, где он?

– Он там, где бродят бездомные собаки, – печально ответил Клаас, – где-нибудь шляется на большой дороге с такими же, как он, бездельниками. Жестоко наказал нас господь таким сыном. Когда он родился, я думал: он будет нам утешением на старости лет и работником в доме. Мне хотелось сделать из него доброго ремесленника, а злая судьба делает из него лентяя и бродягу.

– Не будь так строг, – ответила Сооткин, – нашему сыну едва минуло девять лет, он и дурит, как ребёнок. Ведь и дерево сбрасывает чешуйки, прежде чем оденется в зелёный убор, который даёт ему честь и красоту.

Знаю, длинный у него язык. Но что же, может быть, если он его употребит не на глупые шутки, а на честное дело, и это пойдёт ему в пользу. Он любит посмеяться над ближним, но и это потом будет не так плохо в кругу весёлых товарищей. Он смеётся безустали, но лицо, скисшее до зрелости, – дурное предзнаменование для юности. Много бегает, – ну, будет расти лучше; не работает – так ведь в этом возрасте он и не может понять, что труд – наш долг, а если он подчас половину недели дни и ночи проводит бог весть где, то ведь он не знает, как огорчает нас этим: у него доброе сердце, и он любит нас.

Клаас покачал головой, но ничего не ответил, и Сооткин тихо плакала одна, когда он уснул. К утру ей уже казалось, что сын её валяется больной где-нибудь на дороге. Поэтому она подошла к двери посмотреть, не вернулся ли он, но ничего не было видно, и она села у окна и стала смотреть на улицу. И часто вздрагивало её сердце при звуке лёгких шагов какого-либо мальчика. Но он пробежал мимо – это был не Уленшпигель, – и опять плакала бедная мать.

А Уленшпигель со своими негодными приятелями был на рынке в Брюгге: там по субботам базарный день.

Были здесь башмачники и латальщики, в отдельных рядах старьёвщики, *miesevingers*, то есть птицеловы из Антверпена, по ночам ловящие с совами синиц, торговцы птицей, бродяги, подбирающие собак, кошатники с кошачьими шкурками для перчаток, нагрудников и оторочек, всякие покупатели, горожане, горожанки, прислуга, работники, пекари, повара, кухарки, все вперемежку, продавцы и покупатели с криком и бранью, одни расхваливали товар, другие хаяли его.

В одном углу рынка была разбита на четырёх шестах красивая парусиновая палатка. У входа её стоял крестьянин из Алоста³⁹ с двумя монахами, занятыми сбором приношений, и показывал за патар благочестивым созерцателям осколок ключицы святой Марии Египетской. Надорванным голосом прославлял он добродетели святой, распевая о том, как за неимением денег подвижница *натурой* уплатила юному водоносу, боясь погрешить против святого духа тем, что не вознаградила труженика.

И монахи усердно кивали в подтверждение того, что он говорит правду. Подле него рыжая толстуха, с виду похотливая, как Астарта⁴⁰, дула что есть силы в гнусную волынку, а рядом с ней, точно пеночка, заливалась песней хорошенькая девочка. Но никто не слушал её. Над входом в палатку висела на двух шестах бадья с чудотворной водой из Рима. Так говорила

³⁹ Алост – богатый промышленный городок в восточной Фландрии, в 27 км юго-восточнее крупного города Гента.

⁴⁰ Астарта – богиня древних ассирийцев, финикийцев и других семитских племён, которую греки отождествляли со своей богиней красоты Афродитой; в речах монахов в «Уленшпигеле» – жена Сатаны.

рыжая толстуха, а монахи кивками подтверждали, что это правда. Уленшпигель посмотрел на бадью и задумался.

К одному из шестов палатки был привязан осёл, который, видно, привык питаться больше соломой, чем овсом. Свесив голову, он устался в землю, очевидно без всякой надежды найти на ней колючку чертополоха.

– Ребята! – сказал Уленшпигель и показал товарищам на толстуху, монахов и унылого осла. – Хозяева поют хорошо; надо бы, чтобы серяк потанцевал.

Сказав это, он побежал в соседнюю лавчонку, купил на шесть лиаров перца и насыпал ослу под хвост.

Почувяв жжение, осёл потянулся к хвосту и стал осматривать, откуда идёт эта необычайная теплота. Решив, что его поджаривает какой-то дьявол, он рванулся было, заревел, завизжал, забрыкался и изо всех сил дёрнул недоуздок. Шест покачнулся, бадья перевернулась, и вся чудотворная вода вылилась на палатку и на тех, кто был в ней. Свалилась и парусина и мокрым покровом окутала всех, кто слушал историю святой Марии Египетской. Уленшпигель с друзьями, столпившись у палатки, слышали несшиеся оттуда вопли и брань, ибо благочестивые души, свалившиеся там в кучу, пришли в дикую ярость, обвиняя друг друга в несчастии, и бешено колотили кто в кого попадал. Парусина надувалась над этой сутолокой. Всякий раз, как на ней обозначалась выпуклая часть чьего-нибудь тела, Уленшпигель втыкал туда булавку. Ответом были остервенелые крики из-под палатки и новый град колотушек.

И это уже было достаточно восхитительно, но ещё веселее стало, когда осёл бросился бежать и потащил за собою парусину, бадью и шесты, между тем как хозяин палатки, его жена и дочь хватились за свои пожитки. Осёл, изнемогши, наконец, остановился, поднял морду кверху и ревел непрерывно, изредка только оглядываясь, не гаснет ли огонь, жгущий его сзади.

А благочестивые слушатели продолжали свою возню; монахи, не обращая на них внимания, ползали, собирая деньги, упавшие с тарелок, и Уленшпигель благоговейно помогал им – не без выгоды для себя.

XVIII

Пока негодный сын угольщика рос в удалых забавах, жалкий отпрыск царственного властелина жил в мрачной тоске. Дамы и кавалеры видели, как ковыляет по покоям и переходам замка Вальядолида его тощее тело на неустойчивых ногах, с трудом несущих тяжесть его безобразно большой головы, косматой и белобрысой.

Обычно выискивал он тёмные проходы во дворце и садился в уголок, вытянув ноги. Так он сидел часами, ожидая, что какой-нибудь слуга впопыхах зацепится за его ноги. Слугу секли за это, а принц радовался, слыша его крики под ударами. Но он никогда не смеялся.

На следующий день он устраивал такую же ловушку, усевшись с вытянутыми ногами где-нибудь в другом месте. Фрейлины, придворные и пажи, спеша пробежавшие мимо него, спотыкались, падали, убивались. Это было ему приятно, но он не смеялся.

Если кто-нибудь натёкался на него и не падал, он вскрикивал, точно его ударили, и ужас испуганного человека веселил его. Но он никогда не смеялся.

Его святейшему величеству было доложено об этом поведении: последовал приказ не обращать на инфанта внимания. Ибо, сказал император, если инфант не хочет, чтобы ему наступали на пальцы, то пусть не вытягивает их там, где ступают ноги.

Это не понравилось Филиппу, но он не сказал ничего, и с тех пор его видели лишь изредка, когда он в тёплый летний день грел на солнце своё зябкое тело.

Однажды, возвратившись с похода и застав сына в обычной тоске, Карл обратился к нему:

– Сын мой, как мало похож ты на меня! Когда я был в твоём возрасте, я лазил по деревьям, ловил белок; я спускался на канате с отвесной скалы, чтобы ловить орлят в гнёздах. Я мог в этой игре сложить кости, но они стали только крепче от этого. На охоте дикие звери убегали в чащу, увидев меня с моим добрым мушкетом.

– О, у меня болит живот, государь! – стонал инфант.

– Паксаретское вино – превосходное лекарство от желудка, – отвечал Карл.

– Я не люблю вина. У меня голова болит, государь.

– Сын мой, ты должен бегать, прыгать, лазить, как все мальчики в твоём возрасте.

– У меня судороги сводят ноги, государь.

– У меня бы их не свело, – отвечал Карл, – их сводит оттого, что ты ими не пользуешься, точно они деревянные. Я прикажу привязать тебя к борзому коню.

Инфант расплакался.

– О, только не привязывай никуда: у меня болят бёдра.

– Но у тебя, кажется, нет ничего, что бы не болело.

– Ничего у меня не будет болеть, если меня оставят в покое.

– Что ж, ты думаешь промечтать всю свою королевскую жизнь, точно какой-нибудь подьячий? – нетерпеливо воскликнул император. – Покой, уединение и раздумье пристойны тем, у кого только и дела, что пачкать чернилами пергамент. Тебе, сыну меча, пристала огненная кровь, глаза рыси, хитрость лисы, мощь Геркулеса. Что ты крестишься? Не пристало львёнку подражать старым бабам, помешанным на молитвах!

– Звонят к вечерне, государь, – отвечал инфант.

XIX

Май и июнь в этом году были поистине месяцами расцвета. Никогда во Фландрии не было видано столь упоительного цветения боярышника, никогда не было такого множества роз, жасмина и жимолости в садах. Когда дул ветер из Англии и нёс благоухание этой расцветшей страны к востоку, все, особенно в Антверпене, поднимали носы и весело замечали:

– Чувствуете, какой приятный запах доносится из Фландрии?

И трудолюбивые пчёлы собирали мёд с цветов, делали воск и клали яички в ульях, не вмещавших уже их роёв. Как разносилась трудовая музыка под голубым небосклоном, лучезарно обнимавшим эту богатую землю!

Делали ульи из тростника, соломы, ивовых прутьев, из травы. Корзинщики, столяры, бочары затупили на этой работе свои инструменты. Нехватало корытников.

Насчитывали в роях до тридцати тысяч пчёл и двух тысяч семисот трутней. Соты были так великолепны, что каноник города Дамме послал одиннадцать штук императору Карлу в благодарность за то, что он своими новейшими указами вернул святой инквизиции её надлежашую силу.

Филипп съел мёд, но он не пошёл ему впрок.

Нищие, бродяги, босяки – вся эта орава всевозможных бездельников, шатающаяся по большим дорогам и любой работе предпочитающая хоть виселицу, почуяв сладостный запах мёда, явились за своей долей, волоча с собой свою лень. И по ночам они толпами бродили вокруг.

Клаас тоже наделал ульев, чтобы собрать в них рои. Некоторые были уже полны, другие ждали пчелиного народа. Ночь за ночью сторожил Клаас своё сладкое добро. Утомившись, он поручал это дело Уленшпигелю. Тот охотно соглашался.

Вот однажды ночью, почувствовав холод, он забрался в пустой улей и, съевшись там, смотрел в дырочки: их было две.

Он уже засыпал, как вдруг слышит: хворост на заборе шуршит; слышны и голоса двух человек – верно, воры. Он посмотрел в дырочку и увидел, что оба с длинными волосами, с бородой, хотя бороды тогда носили только дворяне.

Переходя от улья к улью, они подошли к нему, подняли его улей и сказали:

– Возьмём этот: он самый тяжёлый.

Потом проделали в него свои палки и понесли.

Уленшпигелю этот переезд в улье не доставлял никакого удовольствия. Ночь была ясная, и сперва воры двигались молча. Каждые полсотни шагов они останавливались, переводили дыхание и опять пускались в путь. Передний бешено ругался сквозь зубы, что ноша слишком тяжела, а задний только жалобно всхлипывал. Ибо на этом свете два сорта бездельников: одних всякая работа приводит в бешенство, другие от неё только скулят.

Не зная, что предпринять, Уленшпигель, высунув руки, схватил переднего вора за волосы, заднего за бороду и драл их до тех пор, пока, наконец, сердитый не закричал слезливому:

– Перестань дёргать меня за волосы, а не то я так тресну тебя по башке, что она провалится в грудную клетку, и ты будешь смотреть сквозь рёбра, как вор сквозь тюремную решётку.

– Как бы я посмел, дружище, дёргать тебя, – ответил слезливый, – ведь это ты вырвал мне бороду.

– Ну, стану я ловить вшей в колтуне.

– Ой, не качай так улей – мои бедные руки не выдержат! – взмолился слезливый.

– Сейчас совсем оторву их, – закричал сердитый.

И, сбросив ремень, он поставил улей на землю и бросился на своего спутника. Пока они колотили друг друга, под проклятия одного и мольбы другого, Уленшпигель вылез из улья, утащил его в соседний лес и спрятал так, чтобы его можно было опять найти, и вернулся домой.

Так извлекает хитрец выгоду из чужой распри.

XX

Уленшпигелю было пятнадцать лет, когда он как-то в Дамме соорудил маленькую палатку на четырёх шестах и, сидя в ней, выкликал, что здесь каждый – как в настоящем, так и в будущем – может лицезреть своё изображение в прекрасной соломенной рамке.

Горделиво и напыщенно подходил надутый учёный законник. Уленшпигель высовывал свою голову из рамы, строил обезьянью рожу и говорил:

– Старое хайло, не цвести тебе, а догнивать. Ну, что, не вылитый я ваш портрет, господин доктор?

Подходил старикашка со своей бесславной плешью и молодой женой; Уленшпигель опять прятался и показывал в раме рогульку, на ветках которой висели роговые гребешки, шкатулки, черенки для ножей, и спрашивал:

– Из чего сделаны эти штучки, сударь мой? Из рога, который так хорошо растёт в садах старых мужей. Кто смеет теперь сказать, что от рогоносцев нет никакой пользы государству?

И рядом с роговыми изделиями показывалось в раме юное лицо Уленшпигеля.

От ярости у старика делался припадок кашля, но его хорошенькая жена успокаивала его своей ручкой и, улыбаясь, разговаривала с Уленшпигелем:

– А мой портрет покажешь?

– Подойди поближе, – отвечал Уленшпигель. Только она подходила, он притягивал её к себе и покрывал поцелуями.

– Твоё изображение, – говорил он, – в напряжённой юности, пребывающей за мужскими застёжками.

Красотка уходила, дав ему на прощание флорин, а то и два.

Жирному, толстогубому монаху, просившему тоже показать ему его изображение настоящее и будущее, Уленшпигель отвечал:

– Сейчас ты ларь для ветчины – это твоё настоящее, а потом станешь пивным погребом – это твоё будущее, ибо солёное требует выпивки, – не так ли, брюхан? Дай патар – ведь я сказал тебе правду.

– Сын мой, – отвечал монах, – мы не носим при себе денег.

– Деньги носят вас, – возражал Уленшпигель, – я знаю, у тебя деньги в подошвах сандалий. Дай мне твои сандалии.

– Сын мой, это достояние обители. Но, так и быть, вытащу, вот тебе два патара за твои труды.

Монах подал, и Уленшпигель почтительно принял лепту.

Так показывал он жителям Дамме, Брюгге, Бланкенберге и даже Остенде их изображение.

И вместо того чтобы сказать по-фламандски: «Ik ben ulieden spiegel», то есть: «Я – ваше зеркало», он произносил коротко: «Ik ben ulen spiegel», как говорят в восточной и западной Фландрии.

Отсюда и произошло его прозвище Уленшпигель.

XXI

Когда он подрос, его лучшим удовольствием стало слоняться по рынкам и ярмаркам. Увидев дудочника, скрипача или волынщика, он непременно старался за патар научиться у него музыке.

Особенно хорошо он играл на *gommel-pot* – инструменте, состоящем из горшка, свиного пузыря и длинной камышинки. Он устраивал его следующим образом: обтягивал смоченным пузырём горшок, потом середину пузыря привязывал к камышинке, упиравшейся в дно горшка, к краям которого был туго-натуго привязан пузырь так, что чуть не лопался.

К утру, когда пузырь высыхал, он при ударе гудел, как бубен, а камышинка, если по ней провести пальцем, звучала, как лютня. И Уленшпигель с своим хрипящим горшком, подчас ворчавшим, точно цепной пёс, со своим громким пением ходил славить Христа по домам, а за ним толпа ребятишек, носивших под крещение блестящую бумажную звезду.

Когда приезжал в Дамме живописец, чтобы изобразить на полотне коленопреклонёнными почтенных членов какой-нибудь «гильдии», Уленшпигель пристраивался к нему растирать краски только для того, чтобы смотреть, как тот работает, а платы брал всего лишь ломоть хлеба, три лиара денег и кружку пива.

Растирая краски, он изучал манеру мастера. Когда тот отлучался, он пытался писать, как тот, но злоупотреблял красной краской. Так, пробовал он изобразить Клааса и Сооткин, Катлину и Неле, а также горшки и кружки. Клаас, глядя на его картины, пророчил ему, что если он станет ревностно учиться, он грудами будет загребать флорины, разрисовывая *speelwagen*: так в Зеландии и Фландрии называются фургоны бродячих акробатов.

Он научился также вырезать вещицы из камня и дерева у каменщика, который взялся сделать на хорах собора богоматери для каноника – уже престарелого – такое сидение, чтобы тот мог, когда захочется, сесть, но казался бы стоящим.

Таким образом, Уленшпигель был первый, украсивший резьбой ручку ножа, и такая резьба и сейчас распространена в Зеландии. Он изобразил клетку, внутри клетки – череп, а на ней – собаку. Это должно было означать: «Клинок, верный до смерти».

Так начали сбываться предсказания Катлины: Уленшпигель был всё вместе – живописец, ваятель, крестьянин и дворянин, ибо из рода в род Клаасы имели герб – три серебряные кружки на «пивном» фоне.

Но ни на одном ремесле не мог остановиться Уленшпигель, и Клаас заявил ему, что, если так будет продолжаться, он его вышвырнет из дому.

XXII

Возвратившись однажды с похода, император спросил, почему не вышел к нему навстречу сын его Филипп с должным приветом.

Архиепископ, воспитатель инфанта, ответил, что принц не захотел выйти, объявив, что любит только книги и одиночество.

Император осведомился, где находится инфант.

Воспитатель полагал, что принца надо искать в каком-нибудь тёмном закоулке; так они и сделали.

Они прошли длинную вереницу комнат, пока набрали, наконец, на какой-то чулан без пола, освещаемый только дырой. Здесь они увидели вбитый в землю столб, на котором повешена была маленькая обезьянка, как-то присланная из Индии в подарок его высочеству, дабы позабавить его ужимками зверька. Внизу дымились ещё тлеющие дрова, и в чулане стоял отвратительный запах жжёного волоса.

Зверёк так страдал, издыхая на огне, что его маленькое тельце ничем не напоминало некогда живое существо, но скорее походило на какой-то искривлённый, шишковатый корешок. Рот, широко открытый, точно в последнем крике предсмертной агонии, был полон кровавой пены, и крупные слёзы заливали мордочку.

– Кто сделал это? – спросил император.

Воспитатель не посмел ответить, и оба стояли в молчании, мрачном и гневном.

Вдруг в этой тишине из тёмного угла за ними послышался тихий звук, точно кашель. Император обернулся и увидел инфанта. Филипп был в тёмной одежде и сосал лимон.

– Дон Филипп, – сказал отец, – подойди и поздоровайся со мной.

Инфант не шевельнулся и смотрел на отца трусливыми глазами, в которых не было любви.

– Ты это сжёг здесь зверька?

Инфант опустил голову.

– Если ты был достаточно жесток, чтобы сделать это, то будь же достаточно смел, чтобы признаться, – сказал император.

Инфант не ответил ни слова.

Тогда император вырвал лимон из рук сына, бросил его на землю и собрался было поколотить Филиппа, который от страха намочил штаны. Архиепископ удержал его величество и шепнул ему на ухо:

– Его высочество прославится сожжением еретиков.

Император улыбнулся, и они вышли, оставив инфанта с его обезьянкой.

А впоследствии другие существа, уже не обезьяны, тоже нашли свою смерть на кострах.

XXIII

Пришёл ноябрь с его морозами, когда кашляющее человечество наслаждается музыкой харканья. Ребятишки носятся толпами по свекловичным полям, грабя, что можно, к великой ярости крестьян, которые напрасно гоняются за ними с палками и вилами.

Однажды вечером Уленшпигель, возвращаясь с такого набега, услышал где-то под забором жалобное визжание. Он наклонился и увидел лежащую на камнях собаку.

– Ах, бедняга, что ты тут так поздно делаешь?

Погладив её рукой, он почувствовал, что спина у неё совершенно мокрая, и подумал, что её, верно, хотели утопить. Он взял её на руки, чтобы согреть. Придя домой, он спросил:

– Я принёс раненого, что с ним делать?

– Перевязать, – ответил Клаас.

Уленшпигель положил собаку на стол, и тут, при свете лампы, он, Сооткин и Клаас увидели рыженького люксембургского шпица с раной на спине. Сооткин промыла рану, намазала мазью и перевязала тряпочкой. Потом Уленшпигель уложил его в свою постель, хотя мать хотела взять собачку к себе: потому, говорила она, что Уленшпигель ночью мечется, как чорт под кропилом, и, чего доброго, придушит собачку во сне.

Но Уленшпигель настоял на своём и так усердно ухаживал за пёсиком, что через шесть дней тот уж бегал с нахальством настоящего барбоса.

И schoolmeester (школьный учитель) назвал его Титус Бибулус Шнуффиус: Титус – в память известного своей добротой римского императора, который любил подбирать бродячих собак; Бибулус, то есть пьяница, – потому, что пёс очень полюбил тёмное пиво, и Шнуффиус, то есть Нюхало, – потому, что он, беспрестанно что-то вынюхивая, тыкал свой нос в каждую крысиную или кротовью нору.

XXIV

В конце Соборной улицы по краям глубокого пруда стояли две вербы одна против другой.

Уленшпигель натянул между ними канат и однажды в воскресенье после вечерни плясал на нём, забавляя толпу зевак, которая рукоплесканиями и криками выражала ему своё одобрение. Потом он слез и стал обходить толпу с тарелкой, которая вскоре наполнилась. Он высыпал все деньги в передник матери, а себе взял только одиннадцать лиаров.

В следующее воскресенье он опять собрался плясать на канате, но нашлись пакостники-мальчишки, которые, завидуя его ловкости, надрезали канат; после нескольких прыжков канат лопнул, и Уленшпигель свалился в воду.

В то время как он подплывал к берегу, мальчишки кричали ему:

– Как твоё драгоценное здоровье, Уленшпигель? Не собрался ли ты учить карпов в пруде тоже плясать на канате, плясун несравненный?

Уленшпигель вылез из воды, отряхнулся и, так как они в страхе, что он бросится на них, шарахнулись в сторону, он крикнул им:

– Не бойтесь! Вот приходите в то воскресенье; я покажу новые штуки на канате и выручкой поделюсь с вами.

В воскресенье эти мальчишки уже не подрезали каната, а наоборот, смотрели, чтобы кто другой не повредил его, потому что народу собралось множество.

Уленшпигель обратился к ним:

– Дайте мне каждый по одному башмаку и – хотите биться об заклад? – они у меня – большие ли, малые ли – запляшут на канате.

– А какой заклад?

– Я ставлю сорок кружек пива, – отвечал Уленшпигель, – а если я выиграю, вы платите три патара.

– Идёт, – ответили они.

И каждый дал ему по башмаку. Уленшпигель сложил их все в передник, влез на канат и, хоть с трудом, плясал на нём с этой ношей.

Молодёжь кричала снизу:

– Ты говорил, что башмаки будут плясать, а ты их держишь. Обуйся в них или заплати проигрыш!

– Да я и не говорил, что надену их, – отвечал Уленшпигель, – а только, что буду плясать с ними... Вот я и пляшу, и они пляшут со мною в моём переднике. Что уставились, точно лягушки? Платите-ка мои три патара.

Они кричали, требуя, чтобы он им отдал их башмаки.

Он стал бросать один башмак за другим в толпу: все бросились разбирать их, произошла свалка, никто не мог добраться в куче до своего башмака.

Уленшпигель слез с дерева и полил драчунов – только не чистой водой...

XXV

Инфанту было пятнадцать лет; бесцельно, как всегда, слонялся он по переходам, лестницам и залам замка. Чаще всего его видели у дамских покоев, где он затевал ссоры с пажами. Ибо пажи тоже были всегда там, точно коты на ловле. Некоторые оставались во дворе и, подняв носы кверху, пели нежные песни.

Услышав пение, инфант вдруг показывался в окне, и бедные пажи пугались, увидев эту бледную образину вместо чудных очей своих милых.

Среди придворных дам была одна прелестная фламандка из Дюдзее, подле Дамме, пышная, точно зрелый плод, и восхитительно красивая: с зелёными глазами, с вьющимися золотистыми волосами. Весёлая и пламенно-страстная, она ни от кого не скрывала своей склонности к тому счастливцу из кавалеров, которому предоставила сладостное право наслаждаться её божественной благосклонностью. Она избрала в то время одного знатного красавца. Ежедневно в определённое время она встречалась с ним, и об этом узнал Филипп.

Поэтому он сел на скамье у окна и подстерг её; с сверкающими глазами и полуоткрытым ртом, шурша своим золотым парчёвым платьем, прелестная и соблазнительная, она мелькнула мимо него по пути с купанья. Не подымаясь со скамейки, инфант остановил её:

– Сеньора, свободны ли вы на минутку?

Она дрожала от непреодолимого нетерпения, как кобылица, задержанная в своём беге к красавцу-жеребцу, ржущему на лугу, но ответила:

– Здесь в замке всякая женщина подчиняется воле вашего высочества.

– Сядьте подле меня, – сказал он.

Он посмотрел на неё хитрым, острым, похотливым взглядом и продолжал:

– Прочтите мне «Отче наш» по-фламандски. Я знал когда-то, но забыл.

Бедняжка читала ему «Отче наш», а он всё просил её читать, как можно медленнее.

И так она прочитала ему молитву десять раз подряд, всё думая о часе иных молитв, который казался ей столь близким.

Затем он стал осыпать похвалами её прекрасные волосы, роскошный цвет её лица, её ясные глаза; только о её полных плечах, её высокой груди и иных прелестях он не посмел сказать ничего.

Она уж думала, что может итти, и посматривала во двор, где ждал её кавалер, но инфант спросил её, знает ли она, в чём достоинство женщины.

И так как она в замешательстве не знала, что ответить, он поучительно ответил за неё сам:

– Достоинство женщины – её чистота, добродетель и скромное поведение.

И он посоветовал ей одеваться пристойно и скрывать свои прелести.

Она выразила согласие наклоном головы и ответила, что перед его гиперборейским⁴¹ высочеством ей приятней было бы закутаться в десять медвежьих шкур, чем в кисейный лоскуток.

И, смутив его этим ответом, она весело убежала.

Однако пламя юности возгорелось в груди инфанта, но это был не тот могучий пыл, который побуждает сильные души к великим подвигам, и не тот мягкий огонёк, от которого плачут нежные сердца, но то мрачное адское пламя, возжечь которое дано одному сатане. Это пламя светилось в его тусклых глазах, словно лунный свет в зимнюю ночь над кладбищем. Жестоко жёг его этот огонь.

⁴¹ Гиперборейцы – в греческой мифологии, народ, якобы живший на крайнем севере; гиперборейский – северный, здесь: холодный, как лёд; ледяной.

Не чувствуя в себе любви ни к кому на свете, несчастный злока не смел предложить себя женщинам. Он уходил в тёмный, заброшенный угол, в чулан с выбеленными известью стенами и узкими окнами, где он грыз обыкновенно своё пирожное и куда на сладкие крошки во множестве слетались мухи. Там он ласкал себя, давил пальцами мух на стекле и убивал их сотнями, пока его руки так начинали дрожать, что он уж не мог продолжать этого кровавого занятия. И мерзкое наслаждение испытывал он от этой жестокой истомы, ибо сладострастие и жестокость – две гнусные сестры. Он уходил отсюда ещё угрюмее, чем пришёл, и всякий, как мог, бежал от лица этого принца, иссиня-бледного, точно он питался стружьями.

И принц страдал: ибо злое сердце – это мучение.

XXVI

Юная красавица покинула Вальядолид и отправилась в свой замок Дюдзееле во Фландрии.

Проезжая в сопровождении своего толстого управляющего через город Дамме, она увидела юношу лет пятнадцати, который, сидя у стены маленького домика, играл на волынке. Перед ним стоял рыжий пёс и жалобно выл, очевидно, не одобряя этой музыки. Солнце светило ярко. Подле юноши стояла хорошенькая девушка, которая громко хохотала при каждом завывании унылой собаки.

Проезжая мимо домика, прекрасная дама со своим толстым управляющим увидела, как дудит на волынке Уленшпигель, хохочет Неле и воет Титус Бибулус Шнуффиус.

– Злой мальчишка, – сказала дама, – зачем ты доводишь бедного пса до такого воя?

Но Уленшпигель, услышав это, загудел ещё громче, Бибулус завыл ещё жалостнее, Неле хохотала ещё веселее.

Управляющий пришёл в бешенство и, показывая на Уленшпигеля, предложил даме:

– А не оттрепать ли мне эту дрянь ножами моей шпаги? Может быть, он тогда прекратит свой непристойный визг?

Уленшпигель взглянул на управляющего, пробормотал: – Молчи, толстопузый! – и продолжал играть. Управляющий подошёл к нему и пригрозил кулаком. Но Титус Бибулус бросился на него и схватил за ногу. Управляющий упал на землю и заорал:

– Спасите!

Дама засмеялась и спросила Уленшпигеля:

– Скажи, дудочник, не знаешь ли ты, дорога из Дамме в Дюдзееле всё та же, что и прежде?

Уленшпигель утвердительно кивнул головой, но продолжал играть, не отрывая глаз от дамы.

– Что это ты так уставился на меня? – спросила она.

Но он только шире раскрыл свои глаза, как бы в восторге и изумлении.

– Не стыдно тебе в твои годы так смотреть на даму? – спросила она.

Уленшпигель слегка покраснел и, не переставая играть, всё смотрел на неё.

– Я спрашивала тебя, не изменилась ли дорога из Дамме в Дюдзееле? – повторила она.

– Она потеряла свою зелень с тех пор, как вы лишили её возможности носить вас на себе, – ответил Уленшпигель.

– Может быть, проводишь меня? – спросила она.

Но Уленшпигель продолжал сидеть, не отрывая от неё взгляда. И она не сердилась: ей нравилось, что он такой молодой и, видно, продувной. А он встал и направился к дому.

– Куда ж ты? – спросила она.

– Принарядиться, – ответил он.

– Иди, – сказала она.

Она села на скамейку у входа, и управляющий рядом с ней. Она хотела поболтать с Неле, но Неле не отвечала ей: Неле ревновала.

Уленшпигель вернулся вымытый, в плисовой куртке. В своём воскресном наряде этот шельмец выглядел весьма недурно.

– Ты в самом деле пойдёшь с этой красивой дамой? – спросила Неле.

– Я сейчас вернусь, – ответил Уленшпигель.

– А не пойти ли мне вместо тебя? – предложила Неле.

– Нет, очень грязно на дороге.

– Почему, – спросила дама гневно и тоже ревниво, – почему ты, девочка, хочешь помешать ему пойти со мной?

Неле ничего не ответила, но крупные слёзы показались в её глазах, и она сердито и тоскливо посмотрела на даму.

Они отправились вчетвером: дама, точно королева, сидевшая на своём белом коне, покрытом чёрной бархатной попоной, управляющий, толстое брюхо которого вздрагивало при каждом шаге, Уленшпигель, который вёл белого коня под уздцы, и рядом с ним Титус Бибулус с гордо поднятым хвостом.

Так ехали и шествовали они некоторое время. Но Уленшпигелю было не по себе. Безмолвный, как рыба, он вдыхал еле уловимый запах бензоа⁴², шедший от дамы, и бросал украдкой взгляды на сбрую с металлическим убором, на драгоценные украшения, а также на нежное лицо, открытую грудь, блестящие глаза и волосы, сверкавшие на солнце, точно золотой чепец.

– Почему ты всё молчишь, мальчик? – спросила она.

Он ничего не ответил.

– Не так уж ты косноязычен, чтобы не выполнить поручение?

– Смотря какое, – сказал он.

– Отсюда я поеду одна, а ты пойдёшь обратно, знаешь, в Коолькерке, и там передашь от меня одному господину в чёрно-красной одежде, чтобы он не ждал меня сегодня, а в воскресенье в десять часов вечера пришёл бы ко мне в замок через потайной ход.

– Не пойду! – сказал Уленшпигель.

– Почему?

– Не пойду! – повторил он.

– Чего ты взбесился, петушок сердитый?

– Не пойду! – твердил Уленшпигель. – А если я заплачу тебе флорин?

– Нет.

– Дукат?

– Нет.

– Червонец?

– Нет, – повторил он. – Хотя, – прибавил он, – на такие вещи я смотрю много охотнее, чем на ракушки в кошеле матери.

Дама засмеялась и вдруг закричала:

– Я потеряла мою дорогую, парчевую сумку, вышитую жемчугом! Ещё в Дамме она висела у меня на поясе.

Уленшпигель не шевельнулся, управляющий же всполошился:

– Сударыня, не посылайте этого проходимца, а то вы никогда не увидите своей сумки.

– Кто же пойдёт за ней? – спросила она.

– Придётся мне не пожалеть своей старости.

И он поспешил обратно.

Полуденная жара была невыносима, кругом было безлюдно. Уленшпигель снял безмолвно свою праздничную куртку и расстелил её в тени ивы, чтобы дама могла сесть, не боясь сырой травы. И он стоял подле неё, вздыхая.

Она взглянула на него и почувствовала жалость к робкому мальчику. Поэтому она спросила его, не устал ли он стоять на своих молодых ногах. Он не сказал ни слова, и когда он стал падать подле неё, она поддержала его, привлекла к своей обнажённой груди, и там он остался с такой радостью, что ей показалось бесчеловечным приказать ему искать себе другое изголовье.

Между тем возвратился управляющий с известием, что нигде не мог найти сумки.

– Да вот она, – ответила дама, – я нашла её, сходя с коня: падая, она зацепилась за стремя. А теперь, – обратилась она к Уленшпигелю, – води нас прямо в Дюдзееле и скажи мне, как тебя зовут.

⁴² Бензой – ароматное вещество из смолы бензоевого дерева; применяется в парфюмерии и теперь.

– Я ношу имя святого Тильберта, и имя это значит: быстрый в погоне за прекрасными вещами; отца моего зовут Клаас, по прозвищу я Уленшпигель, то есть ваше зеркало. Если вы, ваша милость, взглянете в это зеркало, вы увидите, что во всей Фландрии нет цветка, равного прелестью вашей благоуханной красоте.

Дама покраснела от удовольствия и не рассердилась на Уленшпигеля.

А Сооткин и Неле проплакали всё время его долгого отсутствия.

XXVII

Вернувшись из Дюдзееле, Уленшпигель при входе в город прежде всего увидел Неле. Прислонившись к стене, она общипывала гроздь чёрного винограда, и ягоды, конечно, освежали и услаждали её, но это удовольствие не проявлялось ни в чём. Наоборот, она, видимо, была не в духе и сердито отрывала одну виноградину за другой. Так явно было её страдание, и на лице её написана была такая забота и печаль, что Уленшпигель, охваченный ласковым состраданием, приблизился к ней сзади и нежно поцеловал её в шею.

Но в ответ он получил яростную оплеуху.

– И всё-таки я ничего не понимаю, – сказал Уленшпигель.

Она залилась слезами.

– Хочешь изобразить фонтан у городской заставы, Неле? – сказал он.

– Убирайся! – вскрикнула она.

– Не могу убраться, пока ты так плачешь, девочка!

– Я не девочка, и я не плачу.

– О нет, ты не плачешь, – только вода льётся из твоих глаз.

– Уйди от меня.

– Не уйду.

И дрожащими руками она теребила мокрый передник, по которому градом катились слёзы.

– Неле, – спросил Уленшпигель, – погода скоро переменится?

И он с нежной улыбкой смотрел на неё.

– Не всё ли тебе равно?

– Значит, не всё равно: в хорошую погоду нет дождя.

– Убирайся к барыне в парче, ей с тобой весело.

На это он запел:

Плачет милая моя —
Рвётся сердце у меня.
Смех у милой – мёда слаще,
Слёзы – жемчуг настоящий.
Я её люблю всегда...
Подавай вина сюда,
Чтобы кружки зазвенели!
Лучшего вина сюда —
Только б улыбнулась Неле...

– Скверный человек, – сказала она, – ты ещё смеёшься надо мной!

– Неле, – ответил он, – человек, но не скверный: наш почтенный род, род старшин, имеет в гербе три серебряных кружки на пивном фоне. Скажи, Неле, неужто так заведено во Фландрии, что когда сеют поцелуи, пожинают оплеухи?

– Я не хочу с тобой разговаривать.

– Однако открываешь рот, чтоб сказать мне это.

– Я зла, зла, зла на тебя!

Уленшпигель легонько толкнул её в бок и сказал:

– Целуешь злочку – она дерётся, побьёшь её – она сдаётся. Ну, сдавайся, девочка, я ведь побил тебя.

Неле обернулась. Он протянул руки, она бросилась ему на шею, всхлипывая:

– Ты туда больше не пойдёшь, Тиль?

Но он не отвечал, так как был занят: он сжимал её бледные дрожащие пальчики и старался губами осушить горячие слёзы, которые крупными каплями проливного дождя лились из глаз Неле.

XXVIII

В эти дни благородный Гент отказался платить свою долю подати, наложенной на него его сыном⁴³ императором Карлом. Город был уже совершенно разорён Карлом и платить не мог. Это было тяжкое преступление, и Карл решил собственноручно наказать его.

Ибо сыновний бич больнее спине матери, чем всякий иной.

Враг Карла, Франциск Длинноносый⁴⁴, предложил ему двинуться через Францию. Карл принял предложение, и его приветствовали и окружили царскими почестями, вместо того чтобы заточить в тюрьму. Между государями всегда царит согласие, когда им надо поддержать друг друга в борьбе против их народов.

Карл долго оставался в Валансьене⁴⁵, не показывая своего гнева. Город Гент жил беззаботно, в спокойной надежде, что император, сын его, простит своей родине то, что она поступила по праву и по закону.

Карл с четырьмя тысячами всадников явился под стены города. С ним был Альба⁴⁶, а также принц Оранский. Простой народ и ремесленники хотели воспротивиться этому сыновнему посещению и на вербовали для этой цели восемьдесят тысяч горожан и крестьян. Но зажившие купцы, называемые *hoogh-poorters*, воспротивились, боясь, что, в случае успеха, простой народ получит слишком много прав. Город Гент, вооружив население, мог бы искрошить своего сына и его четыре тысячи всадников. Но город любил его, и даже к ремесленникам вновь вернулись надежды.

Карл тоже любил Гент, но только за те деньги, которые он, получив от него, держал в сундуках и которых ему всегда было мало. Овладев Гентом, он расставил повсюду часовых; дозоры день и ночь обходили город. Затем с большой торжественностью он объявил свой приговор.

Знатнейшие граждане обязаны были с верёвкой на шее явиться пред его престолом и публично принести повинную. Гент был обвинён в самых доходных для государевой казны преступлениях: в измене, непокорности, вероломстве, восстании, мятеже, оскорблении величества. Император объявил недействительными все права и льготы, вольности и обычаи города Гента и, подобно господу богу, предрёк будущее: отныне его преемники при вступлении на престол будут давать клятву соблюдать ту «привилегию рабства», которую он отныне дарует городу в «*Concession Carolina*»⁴⁷ – в «пожаловании Карла».

Он разрушил Сен-Бавонское аббатство, чтобы воздвигнуть на его месте крепость, откуда он при желании мог бы с удобством пронизать чрево своей матери ядрами.

Как любящий сын, который спешит завладеть наследством, он конфисковал всё имущество и доходы Гента, дома, оружие, пушки, и военные припасы.

⁴³ Император Карл родился в Генте.

⁴⁴ «Враг Карла, Франциск Длинноносый...» французский король Франциск I (1494–1547), который сначала обещал помощь восставшему Генту, а потом выдал его замыслы императору. Карл V четыре раза воевал с Франциском (между 1521 и 1544 годами).

⁴⁵ Валансьен – пограничный с Францией нидерландский промышленный город, знаменитый своими кружевами и лёгкими тканями.

⁴⁶ Альба – Фернандо Альварес Альба, герцог Толедо (1508–1582), один из виднейших испанских полководцев шестнадцатого века, правитель Нидерландов с 1567 по 1573 год.

⁴⁷ *Concessio Carolina*. В 1540 г. император Карл V предпринял карательную экспедицию против своей родины, города Гента, отказавшегося внести подать, на которую этот город предварительно не дал своего согласия. Вступив в Гент, Карл V наложил на город тяжёлый штраф и подверг его суровому наказанию. Было объявлено, что отныне все должностные лица будут назначаться самим императором. Количество цехов (они руководили восстанием) было уменьшено вдвое, и они были лишены политической власти и самоуправления. Новые конституционные порядки были объявлены городу в грамоте, названной *Concessio Carolina*.

Найдя, что город слишком хорошо защищен, он срыл все укрепления: Красную Башню, Жабью Дыру, городские ворота – Брампоорт, Стинпоорт, Ваальпоорт, Кетельпоорт и многие другие, украшенные изваяниями и тонкой художественной резьбой.

Когда впоследствии в Гент попадали иностранцы, они с удивлением спрашивали друг друга:

– Что же это за чудеса рассказывали об этом городе. Он такой обыкновенный и скучный.

И гентские граждане отвечали:

– Император Карл недавно снял с города его драгоценный пояс. – И, отвечая так, они были исполнены гнева и стыда. Из развалин городских башен и стен император взял кирпичи для постройки своей крепости.

Он хотел дотла разорить Гент, чтобы трудолюбие, промышленность и богатство города не препятствовали его горделивым замыслам. Поэтому он обязал город уплатить невнесенную дань в четыреста тысяч флоринов, и, кроме того, уплатить сто шестьдесят тысяч дукатов, а затем ещё навечно ежегодно платить налог в шесть тысяч. Гент дал ему некогда денег взаймы, и он должен был выплачивать городу ежегодно сто пятьдесят фунтов серебра. Он отобрал свои долговые обязательства. Расплачиваясь с долгами таким образом, он быстро обогатился. Гент любил его и не раз поддерживал его, но он глубже вонзал кинжал в грудь и пил его кровь, ибо там оказалось недостаточно молока.

Потом Роланд, прекрасный колокол, обратил на себя его внимание; и он приказал повесить на его языке того, кто забил в набат, призывая город к защите своих прав. Он не сжалился над Роландом, языком своей матери, над языком, взывавшим к Фландрии, над Роландом, гордым колоколом, который сам о себе говорил:

Als men my slaet dan is't brandt
Als men my luyt dan is't storm in Vlaenderlandt.
Слышен гулкий удар —
значит вспыхнул пожар.
Мой набат начинает бить —
во Фландрии буре быть.

И, найдя, что язык его матери говорит слишком громко, Карл снял колокол. И люди в округе говорили, что Гент умер потому, что сын его железными клещами вырвал у города язык.

XXIX

Стояли свежие, солнечные весенние дни, когда природа исполнена томления любви. Сооткин болтала с кем-то у открытого окна, Клаас мурлыкал песенку, а Уленшпигель смастерил судейскую шапочку и надел её на Титуса. Пёс важно поднимал лапу, точно изрекая приговор, но делал это только для того, чтобы избавиться от шапочки.

Вдруг Уленшпигель захлопнул окно, заметался по комнате, вскакивая на столы и стулья, и шарил руками по потолку. Сооткин и Клаас увидели, что он хочет поймать прелестную маленькую птичку, которая пищала, вся дрожа от ужаса, и прижалась в углу к потолочной балке.

Только Уленшпигель хотел схватить её, как Клаас сказал ему:

– Чего ты мечешься?

– Хочу поймать её, – ответил Уленшпигель, – посадить в клетку, кормить её зерном и слушать, как она будет петь.

Птичка опять вспорхнула с жалобным писком и, проносясь из угла в угол, билась головой о стёкла.

Уленшпигель всё прыгал за нею, но Клаас опустил свою тяжёлую руку на его плечо и сказал:

– Ты поймай её и посади в клетку, чтобы она для тебя пела. А я посажу тебя в клетку, запертую доброй железной решёткой, и тоже заставлю тебя петь. Ты любишь бегать, да нельзя будет; ты будешь сидеть в тени, когда тебе будет холодно, и на солнце, когда тебе станет жарко. А то как-нибудь в воскресенье мы уйдём, забыв дать тебе поесть, и вернёмся только в четверг, и, когда придём домой, то найдём Тиля умершим от голода, холодным и неподвижным.

Сооткин заплакала. Уленшпигель вскочил.

– Что ты делаешь? – спросил Клаас.

– Отворяю для неё окно, – ответил Уленшпигель.

И щeglёнок порхнул к окну, радостно пискнул, поднялся стрелою вверх, потом уселся на соседнюю яблоню, чистя перышки и осыпая на своём птичьём языке яростными ругательствами Уленшпигеля.

И Клаас сказал:

– Сын мой, никогда не лишай человека или животное свободы, величайшего блага на земле. Не мешай никому греться на солнце, когда ему холодно, и прохладиться в тени, когда ему жарко. И пусть господь судит его величество, императора Карла, который сначала заковал в цепи свободную веру во Фландрии, а теперь хочет заключить в клетку рабства благородный Гент.

XXX

Филипп женился на Марии Португальской⁴⁸, земли которой присоединил к испанской державе. От неё родился дон Карлос, злой безумец. Филипп не любил свою жену!

Королева болела после тяжёлых родов. Она лежала в постели, окружённая придворными дамами, среди которых была герцогиня Альба.

Филипп часто покидал жену, чтобы присутствовать при сожжении еретиков. Все дамы и кавалеры его двора следовали его примеру, – в том числе и герцогиня Альба, благородная сиделка при королеве.

Инквизиция⁴⁹ осудила в это время одного фламандского скульптора, католика: один монах заказал ему вырезать из дерева изваяние божьей матери и не заплатил ему, сколько было условлено; тогда художник искромсал резцом лицо статуи, ибо, сказал он, лучше он уничтожит свою работу, чем отдаст её за позорную цену.

Обвинённый по доносу монаха в кощунстве, он был подвергнут бесчеловечной пытке и приговорён к сожжению.

Во время пытки ему сожгли подошвы ног, и по пути от тюрьмы к костру, покрытый «San-benito»⁵⁰, он всё время кричал:

– Отрубите ноги! Отрубите ноги!

И Филипп издали с наслаждением слушал эти иступлённые крики. Но он не смеялся.

Придворные дамы королевы Марии покинули её, чтобы видеть казнь, и вслед за ними побежала герцогиня Альба, ибо и она хотела слышать крики фламандского художника и наслаждаться зрелищем казни. И королева осталась одна.

Филипп и весь его двор, его князья и графы, кавалеры и дамы, все смотрели, как фламандского скульптора приковали к столбу, окружённому на некотором расстоянии пучками соломы и связками хвороста, длинной цепью, так что осуждённый мог держаться подальше от наиболее жаркого пламени и, таким образом, жариться на медленном огне.

С любопытством смотрели все, как он, голый или почти голый, напрягал все свои душевные силы для борьбы с огнём.

Как раз в это время королеве Марии на её ложе очень захотелось пить. На другом конце спальни на блюде лежала половина арбуза. Родильница с трудом поднялась с постели, прошла через комнату, взяла арбуз и съела всё без остатка.

От охлаждения её начало знобить; обливаясь холодным потом, она упала и долго лежала на полу без движения.

– О, – стонала она, – я бы согрелась, если бы меня перенесли в постель.

⁴⁸ *Мария Португальская*. В конце 1543 г., шестнадцати лет, Филипп женился на своей двоюродной сестре, инфанте португальской, Марии. Она родила сына, дон Карлоса, 8 июля 1545 г. и спустя несколько дней умерла. Португалия была присоединена Филиппом к Испании значительно позднее, в 1581 г. В течение 60 лет испанцы высасывали соки этой богатейшей страны, и вовлекли её в процесс упадка, который переживала тогда сама Испания.

⁴⁹ *Инквизиция* (лат. *inquisitio* – следствие), именуемая папами *Sanctum Officium* – «святая служба», существовала в католической церкви с первых веков христианства. Но она резко усилилась в эпоху альбигойских религиозных войн, в XII веке. В Испании инквизиция стала государственным учреждением с 1486 г. и просуществовала по 1834 г. За это время она казнила там явно или тайно не менее 350 тысяч человек и около 300 тысяч сослала на каторгу и приговорила к пожизненному заключению. В Нидерландах только при Карле V было казнено не менее 50 тысяч человек.

⁵⁰ *San-benito* – одеяние в виде мешка (почему оно первоначально и называлось *sacco benito*) с намалёванными на нём чертами и языками адского пламени; осуждённые за ересь шли в нём на публичное сожжение. Последнее называлось ауто де фе (испанское слово, означающее «акт веры»; португальская форма: ауто да фе). Эта изуверская церемония происходила обычно в праздничные дни, в присутствии короля со всем двором (если дело было в столице). Филипп II проявлял такое рвение при сожжении еретиков, что когда однажды один из приговорённых упрекнул его, спросив: «Зачем ты мучаешь своих невинных подданных?» Филипп ответил: «Если б мой сын был еретиком, я сам сложил бы костёр, чтобы сжечь его!» Впрочем, раскаявшимся и исповедывавшимся оказывалась «милость»: их сначала душили (в железных ошейниках на винтах), сжигая затем мёртвыми, а не живыми. Папа давал всем присутствовавшим на ауто да фе сорокадневное отпущение грехов.

Тут донёсся до неё крик несчастного скульптора:

– Отрубите ноги!

– Ах, что это, – вздыхала она, – не собака ли там воеет, предрекая мне смерть?

В это мгновение скульптор, увидев вокруг себя лишь враждебные испанские лица, подумал о Фландрии, стране мужественной силы. Он скрестил руки, потянул за собой цепь во всю её длину, выпрямившись, стал на горящие связки соломы и хвороста и воскликнул:

– Так умирают фламандцы на глазах своих испанских палачей. Не мне, а им рубите ноги, чтобы они не могли больше заниматься убийствами! Да здравствует Фландрия! Фландрия во веки веков!

И дамы рукоплескали ему и, видя его гордое поведение, просили смириться над ним.

И он умер.

Королева Мария дрожала всем телом и рыдала; зубы её стучали от потрясавшего её предсмертного озноба, и она вытягивала ноги и руки с криками:

– Положите меня в постель, согрейте меня!

И она умерла.

Так, по предсказанию Катлины, доброй колдуньи, Филипп везде сеял кровь, смерть и слёзы.

XXXI

А Уленшпигель и Неле нежно любили друг друга.

Был конец апреля, все деревья стояли в цвету, все растения, полные соков, ждали мая, который нисходит на землю, многоцветный, как павлин, и благоухающий, как букет цветов. В садах, заливаясь, распевали соловьи.

Часто Уленшпигель и Неле бродили вдвоём по безлюдным тропам. Неле льнула к Уленшпигелю, и он, упиваясь радостью, нежно обнимал её. И она была счастлива, но не говорила ничего.

Ветерок разносил по дорогам ароматы лугов. Море шумело вдали, словно нежась под лучами солнца. Уленшпигель был горд, как молодой сатанёнок, Неле наслаждалась своим счастьем стыдливо, как маленькая святая в раю.

Она склоняла голову на плечо Уленшпигелю, он брал её руки, целовал её в лоб, щеки и в губы. Но она не говорила ничего.

Так проходили часы. Их бросало в жар и мучила жажда, они заходили к крестьянину, пили у него молоко, но это не освежало их.

Они сидели на траве у обрыва.

Неле была бледна и задумчива. Уленшпигель тревожно смотрел на неё.

– Ты тоскуешь? – сказала она.

– Да, – ответил он.

– Отчего?

– Я не знаю; но эти яблони и вишни в цвету, этот тёплый воздух, точно пронизанный молниями, эти маргаритки, розовеющие на лугах, терновник, весь белый у нас на заборах... Кто скажет мне, отчего я так взволнован? Мне хочется не то умереть, не то уснуть. И сердце моё бьётся так сильно, когда я слышу, что проснулись в ветвях птички, когда я вижу, что прилетели ласточки. Мне хочется нестись куда-то дальше солнца и месяца. То мне жарко, то холодно. Ах, Неле! Я хотел бы оторваться от этой земли, или нет, я хотел бы отдать тысячу жизней той, которая меня будет любить...

Неле ничего не говорила, но радостно улыбалась и смотрела на Уленшпигеля.

XXXII

В день поминовения усопших Уленшпигель вместе с несколькими озорниками вышел из собора богоматери; среди них был и Ламме Гудзак – точно ягнёнок в стае волков.

Ламме щедро угостил всех доброй выпивкой, так как по праздникам и по воскресеньям получал от матери по три патара.

Они всей компанией отправились в «Красный щит» к Яну ван Либекке, у которого нашли доброе кортрейское пиво.

Выпивка развеселила их; они говорили о церковной службе, и Уленшпигель заявил, что панихиды приносят пользу только попам.

Но был в их компании иуда, который донёс на Уленшпигеля. Несмотря на слёзы Сооткин и доводы Клааса, Уленшпигель был взят по обвинению в ереси и заключён в тюрьму. Месяц и три дня сидел он за решёткой, не видя живой души. Тюремщик съедал три четверти еды, предназначенной заключённому. В это время наводили справки о его доброй и дурной славе. Оказалось, что он только злой проказник, вечно насмехающийся над своими ближними, но никогда не изрекал хулы на господ бога, деву Марию или святых угодников. Поэтому и приговор был мягок: за такое преступление ему могли наложить на лоб клеймо раскалённым железом и бичевать до крови.

Принимая во внимание его юность, судьи постановили: в наказание он в одной рубашке, с обнажённой головой и босыми ногами, со свечой в руке, должен будет шествовать вслед за священниками в первом крестном ходе, который выйдет из церкви.

Это было в день вознесения.

Когда крестный ход возвращался в церковь, Уленшпигель остановился в дверях собора и провозгласил:

– Благодарю тебя, господи Иисусе! Благодарю господ священнослужителей! Молитвы их сладостны и прохладительны для душ, страдающих в огне чистилища. Ибо каждое «Ave» есть ведро воды, изливающееся на их спины, а каждое «Pater» – целый чан!

Народ слушал всё это с благоговением, но не без усмешки.

В духов день Уленшпигель также должен был идти за крестным ходом, в рубашке, босой, с обнажённой головой и свечой в руке. На обратном пути он остановился на паперти, благоговейно держа свечу, – причём, однако, корчил рожи, – и провозгласил громко и звучно:

– Если молитвы христианские – великое облегчение для душ, томящихся в чистилище, то молитвы каноника собора богородицы, святого человека, преуспевающего во всяческих добродетелях, так успешно гасят огонь чистилища, что всё пламя его мгновенно превращается в лимонад. Но чертям, терзающим там грешников, не достаётся ни капельки.

Народ внимал ему с великим благоговением, но про себя посмеиваясь, а каноник пасырски улыбался.

Затем Уленшпигель был изгнан на три года из Фландрии с тем условием, что за это время он совершит паломничество в Рим и принесёт оттуда прощение папы.

За приговор этот Клаас уплатил три флорина, да ещё на дорогу дал сыну один флорин и паломническое облачение.

В час разлуки, обнимая Клааса и Сооткин, бедную рыдающую мать, Уленшпигель был очень удручён. Они провожали его далеко за город вместе со многими горожанами и горожанками.

Вернувшись домой, Клаас обратился к жене:

– Знаешь, жена, это, по-моему, очень жестоко – так сурово наказать мальчика за несколько глупых слов.

– Ты плачешь, муж, – сказала она, – ты любишь сына больше, чем это кажется, ибо рыдания сильного человека подобны стенанию льва.

Но он не ответил ей.

Неле спряталась на чердак, чтобы никто не видел, что она плачет об Уленшпигеле. Издали шла она за Сооткин и Клаасом и их спутниками. Увидев, что Уленшпигель остался один, она бросилась бежать за ним, догнала и кинулась ему на шею со словами:

– Там будет столько красивых дам...

– Красивых – может быть, – отвечал он, – но таких свежих, как ты, конечно, нет: их всех сожгло солнце.

Долго шли они вместе. Уленшпигель был погружён в глубокое раздумье и только иногда приговаривал:

– Заплатят они мне за свои панихиды.

– Какие панихиды и кто за них заплатит? – спросила Неле.

– Все деканы, каноники, патеры, пономари, попы, толстые, высокие, низкие, худые, которые морочат нас. Если бы я был прилежный труженик, они этим путешествием лишили бы меня плодов трёхлетней работы. Теперь поплатится бедный Клаас. Сторицей заплатят они мне за эти три года, и пропою же я им панихиды на их же денежки.

– Ах, Тиль, будь осторожен, – предупреждала Неле, – они тебя сожгут живьём.

– О, я в огне не горю и в воде не тону, – ответил Уленшпигель.

И они расстались: она – рыдая, а он – озлобленный и удручённый.

XXXIII

В среду, проходя через Брюгге, он увидел на рынке женщину, которую тащил палач с помощниками. Вокруг них толпилось множество других женщин, осыпавших её грязными ругательствами.

Взглянув на её платье, увешанное красными лоскутьями, на «камень правосудия», висевший на её шее на железных цепях, Уленшпигель понял, что эта женщина виновна в том, что торговала юным и свежим телом своих невинных дочерей. В толпе говорили, что её зовут Барбарой, что она замужем за Ясоном Дарю и что должна переходить в этом одеянии с площади на площадь до тех пор, пока не вернётся вновь на Большой рынок, где взойдёт на эшафот, уже воздвигнутый для неё. Уленшпигель шёл за ней вместе с галдящей толпой. По возвращении на рыночную площадь, её привязали к столбу, и палач насыпал перед ней кучу земли и пучок травы, что должно было обозначать могилу.

Уленшпигель узнал также, что её уже бичевали в тюрьме.

Дальше на пути он встретил бродягу Генриха Маришалья, которого уже раз вешали в кастелянстве⁵¹ Вест-Ипра. Генрих показывал следы верёвки у него на шее. Он рассказывал, что он спасся от смерти чудом. Уже вися на верёвке, он вознёс моления к гальской богородице. Когда суд и должностные лица удалились, верёвка, уже не душившая его, разорвалась, и он, упав на землю, освободился.

Но вскоре затем Уленшпигель узнал, что этот висельник вовсе не нищий и не Генрих Маришаль и что поощряет его шататься повсюду и распространять эту ложь сам протоиерей собора гальской богородицы, снабдивший его грамотой за своей подписью. Рассказы о мнимом спасении этого бродяги принесли церкви обильные плоды. Люди, которые чуяли виселицу более или менее близко от себя, толпами стекались к гальской богородице и много жертвовали. И долго ещё божия мать гальская носила название «богородицы висельников».

⁵¹ *Кастелянство*. Во Фландрии, как и во Франции, это – местности, феодальные владельцы которых носили титул кастелянов. В руках этих крупных феодалов была сосредоточена гражданская и военная власть, впоследствии сильно ограниченная верховной властью бургундских герцогов и испанских королей.

XXXIV

В это время инквизиторы и теологи вторично предстали перед императором Карлом и заявили ему следующее:

– Церковь гибнет; значение её падает; если он одержал столько славных побед, то ими обязан он молитвам католической церкви, коими держится на высотах трона его императорское величие.

Один испанский архиепископ потребовал, чтобы император отрубил шесть тысяч голов или сжёл шесть тысяч тел, чтобы искоренить в Нидерландах злую лютерову ересь. Его святейшему величеству это показалось ещё недостаточным.

И куда ни приходил бедный Уленшпигель, везде, исполненный ужаса, он видел только головы, торчащие на шестах; он видел, как девушек бросали в мешках в реку, голых мужчин, распятых на колесе, избивали железными палками, женщин бросали в ямы, засыпали их землёй, и палачи плясали сверху, растапывая им груди. Но, если кто отрекался от своих убеждений, духовники получали по двенадцать су за каждого раскаявшегося.

В Лувене он видел, как палачи сожгли сразу тридцать лютеран, – костёр был зажжён посредством пушечного пороха. В Лимбурге он видел, как целая семья – мужчины и женщины, дочери и зятя – с пением псалмов взошла на эшафот. Только один старик закричал, когда пламя охватило его.

С болью и ужасом брёл Уленшпигель по этой несчастной земле.

XXXV

В полях он отряхивался, как птица, как спущенная с цепи собака, и при виде деревьев, лугов и ясного солнца на душе его снова становилось веселее.

После трёхдневного пути пришёл он в брюссельскую округу, в богатую деревню Уккле. Проходя мимо деревенской гостиницы «Труба», он почуял сладостный запах жаркого. Какой-то бездельник стоял рядом с ним и тоже, задрав нос, наслаждался этим благоуханием. Уленшпигель обратился к нему с вопросом, в честь кого воздымается к небу этот праздничный фимиам. Тот ответил, что это братья ордена «Упитанная рожа»⁵² собираются здесь в час вечерней трапезы, чтобы отпраздновать годовщину освобождения Уккле, которое совершили женщины и девушки в незапамятные времена.

Издали увидел Уленшпигель шест, на котором виселось чучело попугая, а вокруг шеста – женщин, вооружённых луками.

На его вопрос, с каких это пор стали бабы стрелками, бездельник, вдыхая в себя аромат соуса, ответил, что в давние времена этими самыми луками женщины общины Уккле отправили в лучший мир более сотни разбойников.

Уленшпигель хотел узнать подробности, но бездельник сказал, что он голоден и не может вымолвить ни слова, пока не получит патар на пропитание и выпивку. Из жалости Уленшпигель дал ему патар.

Получив монету, нищий юркнул в трактир, точно лиса в курятник, и победоносно явился оттуда, неся пол колбасного круга и здоровенный ломоть хлеба.

Вдруг слышались приятные звуки бубен и скрипок; показалась толпа танцующих женщин, в кругу их плясала одна красotka с золотой цепочкой на шее.

Парнишка, блаженно улыбающийся с тех пор как насытился, объяснил Уленшпигелю, что молодая красotka – королева стрельбы из лука, что зовут её Миэтье и что она жена господина Ренонкеля, общинного старшины. Затем он попросил у Уленшпигеля шесть лиаров на выпивку. Получив их, поев и выпив, он сел на солнце и стал ковырять пальцами в зубах.

Увидев Уленшпигеля в паломническом одеянии, женщины окружили его хороводом с криками:

– Здравствуй, хорошенький богомолец! Издалека ли ты идёшь, молоденький богомолец?

Уленшпигель ответил:

– Я иду из Фландрии, прекрасной страны, столь богатой милыми девушками.

И он с грустью подумал о Неле.

– В чём твоё прегрешение? – спросили они, переставая кружиться вокруг него.

– Ах, прегрешение моё, – сказал он, – так велико, что я не могу назвать его. Но у меня есть и ещё кой-что, также не малых размеров.

Они расхохотались и стали расспрашивать, почему это он идёт с посохом паломника и нищенской сумой.

– Я в недобрый час сболтнул, что панихиды выгодны только священникам, – ответил он.

– Они получают за молитвы хорошую мзду, – говорили женщины, – но молитвы спасают грешные души в чистилище.

– Я там не был, – сказал Уленшпигель.

– Хочешь закусить с нами, паломник? – спросила самая хорошенькая.

⁵² Орден «Упитанная Рожа». Страна необычайного расцвета городской жизни, Нидерланды того времени, с их трудолюбивым, общительным и любящим повеселиться населением, были наводнены всевозможными вольными обществами. Не говоря о цехах, гильдиях и прочих производственных и бытовых объединениях, тут были многочисленные театральные, литературные («камеры реторики»), военные, стрелковые и просто увеселительные общества. Последние нередко принимали всякие шуточные, забавные наименования, вроде описанного здесь Ордена «Упитанной рожи».

– Конечно, хочу закусить с вами и закусить вами, тобою и всеми остальными по очереди, так как вы – знатное блюдо, повкусней дроздов, куропаток и рябчиков.

– Бог с тобой: нет цены этой дичи.

– Такой, как вы?

– Ну, это как для кого; но нас ведь не купишь.

– Значит, даром получишь.

– Получишь колотушек за наглость. Хочешь вымолотим, как скирду хлеба!

– Ой, не буду!

– Ну, то-то же, пойдём-ка лучше покушаем.

Они повели его во двор трактира, и ему было так приятно видеть вокруг себя эти свежие лица. Вдруг с трубой и дудкой, с бубном и знаменем торжественно ввалилась во двор процессия братьев «Упитанной рожи», являвшихся весёлым и наглядным воплощением жирного названия их братства. Мужчины с недоумением смотрели на Уленшпигеля, но женщины объяснили им, что они нашли его на улице, и так как рожа его им показалась, как у их мужей и женихов, достаточно благодушной, они пригласили его принять участие в их торжестве.

Эти доводы были приняты мужчинами, и один из них сказал:

– Не хочешь ли совершить путешествие через соусы и жаркие?

– В сапогах-скороходах, – отвечал Уленшпигель.

Но по пути в зал, где приготовлено было пиршество, он увидел дюжину слепых, тащившихся по парижской дороге с стенаниями и жалобами на голод и жажду.

При виде их Уленшпигель решил про себя, что он должен сегодня накормить этих нищих царским ужином за счёт каноника из Уккле и в память панихид.

– Чувствуете запах жаркого? – крикнул он им. – Вот девять флоринов, идите закусите.

– Увы, за полмили чувствуем, – ответили они, – только без всякой надежды.

– Вы сытно поужинаете на девять флоринов, – сказал он.

Но в руки он им ничего не дал.

– Благослови тебя господь, – ответили они.

И Уленшпигель усадил их вокруг маленького стола, между тем как за большим столом рассаживались братья «Упитанной рожи» с своими жёнами и дочерьми.

Слепые, гордые своими девятью флоринами, заказывали хозяину:

– Ты дашь нам лучшее, что у тебя есть из еды и питья.

Хозяин слышал разговоры о девяти флоринах и, убеждённый, что деньги лежат в их карманах, спросил, что угодно им заказать.

Они заговорили все разом:

– Дашь гороха с салом; дашь крошеного мяса – воловьего, телячьего, бараньего, куриного. Для кого сосиски-то – для собак, что ли?

– Кто, проходя, чуял запах колбас кровяных, колбас белых – и не схватил их за шиворот? Видал я их, видал, бедняга, не раз, когда глаза мои светили мне.

– К коекеbakken, пирожки, поджаристые такие, в масле, в Андерлехте под Брюсселем их делают. Они поют на сковороде, такие сочные, хрустящие, и пить хотят, пить, пить. Яичницу с ветчиной мне или ветчину с яичницей, – ну, уж объяденье!.. А где вы, небесные choesels – такие гордые мясные великаны среди всяких почек, петушьих гребешков, телячьих желез, бычьих хвостиков, бараньих ножек; и приправа: лучок, перчик, мускат, гвоздика и три кружки белого вина для соуса... О, дождусь ли я тебя, божественная свиная колбаса, такая мягкая, что ты слова не вымолвишь, когда тебя пожирают! Прямым путём из «Царства объедал» приходишь ты из далёкой страны блаженных бездельников и сладён! Где вы, сухие, листочки минувшей осени?.. Мне баранины с бобами... Мне свиных ушей!.. Мне сооруди чётки из куличков... «Отче наш» будут стрепета, а «Верую» – жирный каплун.

Трактирщик не шевельнулся, а затем сказал:

– Вы получите яичницу из шести десятков яиц; путеводными вехами для ваших ложек будут полсотни чёрных колбас, которые, дымясь, увенчают эту гору еды. На выпивку будет dobbel peterman – целая река доброго пива.

У бедных слепых потекли слюнки изо рта, и они кричали:

– Давай скорей и гору, и вехи, и реку, давай!

И братья «Упитанной рожи», уже сидевшие с Уленшпигелем за столом, говорили между собой, что сегодня для слепых – день незримого пира и что бедные слепые потеряют поэтому половину удовольствия.

Когда яичница, украшенная гирляндами петрушки и укропа, была внесена в столовую хозяином и четырьмя поварами, слепые набросились на неё и стали было копать в сковородке, но хозяин, хоть и не без труда, разделил всё и каждому положил на тарелку его долю.

Женщины расчувствовались, видя, как жадно, причмокивая, едят бедняки: страшно голодные они глотали колбасы, точно устриц. Dobbel peterman низвергался в желудки, подобно водопаду, несущемуся с горной вершины.

Очистив свои тарелки, они снова потребовали печений, дроздов и фрикасе. Но трактирщик принёс им большую миску, полную бычьих, телячьих, бараньих костей, плававших в доброй подливе, и уж не делил на части.

Когда они, запустив руки по локти в соус, стали макать хлеб и вытаскивать оттуда только обглоданные рёбра да лопатки, а то и бычьи челюсти, каждый решил, что всё мясо захватил его сосед, и они стали бешено швырять костями друг другу в лицо.

Братья «Упитанной рожи», досыта нахохотавшись при виде этого зрелища, переложили часть своего угощения в миску слепых, и те, запуская руку в глубь, чтобы найти там кость для драки, вдруг стали вытаскивать то дрозда, то цыплёнка, а то и пару жаворонков. А женщины запрокидывали им головы назад и вливали в глотки полные кружки брюссельского вина. И слепые, шаря вокруг себя руками, чтобы найти, откуда льётся божественная влага, вдруг хватались за юбки и изо всех сил тащили их к себе. Но женщины ускользали.

Итак, слепые хохотали, пили и ели и пели песни. Некоторые, почуяв женщин, бегали за ними в любовном пылу по столовой, но озорницы дразнили их, прятались за своими мужчинами и кричали слепым: «Поцелуй меня!»

Они пытались целовать, но вместо женского лица натыкались на мужскую бороду, да ещё получали при этом шлепок.

Запевали братья «Упитанной рожи», а слепые подтягивали им. И весёлые бабёнки хохотали при виде их веселья.

Когда пришла пора кончать веселье, явился трактирщик:

– Ну, поели, попили, – сказал он, – платите-ка семь флоринов.

Каждый клялся, что деньги не у него, и отсылал хозяина к другому. И из-за этого вновь возникала свалка, в которой они старались ткнуть друг в друга ногой, кулаком, головой, но не попадали и били по воздуху, потому что окружающие, видя, куда они тычут, удерживали их. Удары сыпались впустую, только один нечаянно угодил оплеухой хозяина. Тот разъярился, стал их обыскивать, но нашёл у них у всех лишь старый нарамник, семь лиаров, три пуговицы от штанов и у каждого – чётки.

Он хотел было запереть слепых в свиной хлев и держать там на хлебе и воде, пока не получит с них за всё.

– Хочешь, – сказал Уленшпигель, – я поручусь за них.

– Хорошо, – ответил хозяин, – если кто-нибудь поручится за тебя.

Братья «Упитанной рожи» хотели поручиться за Уленшпигеля, но тот отклонил это и сказал:

– За меня поручится ваш каноник, я пойду к нему.

Памятуя о панихидах, он отправился к местному священнику и рассказал ему, что хозяин «Охотничьего рога», будучи одержим бесом, говорит только о слепых и свиньях: то ли свиньи съели слепых, то ли слепые съели свиней во всевозможных безбожных видах и блюдах. И во время таких припадков трактирщик разгромил всё своё заведение. Он просит священника прийти и освободить беднягу от наваждения.

Священник обещал прийти, но сказал, что сейчас не может: он подводил итог доходам по причту и старался при этом выгадать что-нибудь для себя.

Видя, что священнику теперь не до него, Уленшпигель сказал ему, что придёт с женой трактирщика, – пусть он поговорит с ней.

– Приходите вдвоём, – сказал священник.

Вернувшись от него, Уленшпигель сообщил трактирщику:

– Я говорил с каноником, он готов поручиться за слепых. Ты присмотри тут за ними, а хозяйка пусть пойдёт со мной к священнику, он подтвердит то, что я сказал.

– Пойди, жена, – сказал трактирщик.

Хозяйка пошла с Уленшпигелем к священнику, который всё ещё был погружён в расчёты, как бы выгадать что-нибудь в свою пользу. Когда она и Уленшпигель вошли к нему, он нетерпеливо махнул рукой, чтобы они ушли, и только сказал:

– Не беспокойся, через два-три дня я помогу твоему мужу.

И, вернувшись в трактир, Уленшпигель сказал себе: «Он уплатит эти семь флоринов, и это будет моя первая панихида».

И он удрал, и слепые за ним.

XXXVI

Встретив на следующий день на большой дороге толпу богомольцев, Уленшпигель пошёл с ними и узнал, что сегодня богомолье в Альзенберге.

Он видел бедных старух, шедших босиком по дороге задом наперёд: они пятились так потому, что подрадились за флорины искупить грехи нескольких знатных барынь. По обочинам дороги расположились богомольцы, сладко закусывая и попивая пиво под звуки дудок, скрипок и волынок. Запах вкусного соуса подымался к небу, как нежный фимиам.

Но были и другие богомольцы: грязные, голодные, увечные; они тоже шли задом, за что получали от церкви по шесть су.

Лысый человек с вытаращенными глазами и мрачным лицом прыгал за ними тоже задом наперёд, неустанно твердя «Отче наш».

Уленшпигель хотел узнать, чего ради это он подражает ракам, и, став перед плешивым, тоже запрыгал, как он. Дудки, рожки, скрипки, волынки, стенания богомольцев и прочая музыка сопровождали эту пляску.

– Чортова перечница, – сказал Уленшпигель, – зачем ты бежишь таким способом? Чтоб вернее упасть?

Тот ничего не ответил и продолжал твердить «Отче наш».

– Хочешь, может быть, знать, сколько деревьев на дороге? Или ты и листья на них считаешь?

Человек, бормотавший в это время «Верую», махнул на него рукой, чтобы он помолчал.

– Или ты, – сказал Уленшпигель, продолжая прыгать пред ним, – или ты вдруг сошёл с ума, что так пятишься? Но кто хочет от дурака добиться разумного ответа, тот сам дурак. Не так ли, шелудивый господин?

Тот всё не отвечал, а Уленшпигель продолжал прыгать, так стуча при этом своими подошвами, что дорога гудела, как деревянный ящик.

– Или вы немой, господин почтеннейший?

– Ave Maria gratia plenae et benedictus fructus ventris tui Jesu.

– Оглохли, что ль? Посмотрим. Говорят, глухие не слышат ни похвалы, ни брани. Ну, посмотрим, из чего твоя барабанная перепонка, из кожи или железа. Ты, фонарь без свечи, путник заблудший, ты думаешь, что похож на человека? Будет это тогда разве, когда людей станут делать из старых тряпок. Где это была видана такая жёлтая образина, такая башка облезлая? Разве на виселице! Висел уж, видно, когда-нибудь?

И Уленшпигель плясал, а человек яростно прыгал, всё бормоча свои молитвы.

– Может, ты понимаешь только господское наречие, так я поговорю с тобою просто по-фламандски. Если ты не обжора, то ты пьяница, если не пьяница, то у тебя запор, а если не запор, то понос. Если ты не распутник, то, стало быть, каплун; если есть где на свете умеренность, то не в бочке твоего пуза проживает она. И если на тысячу миллионов человек, обитающих на земле, приходится один рогиносек, то это должен быть ты.

При этих словах Уленшпигель упал на свой зад и вытянул ноги в воздух, ибо человек вдруг так ударил его кулаком под нос, что у него в глазах искры засверкали. Потом, несмотря на своё брюхо, он бросился на Уленшпигеля, колотил его куда попало, и удары сыпались, как град, на худощавое тело Уленшпигеля. У него и палка из рук выпала.

– Пусть это будет тебе уроком не заговаривать насмерть порядочных людей, идущих на богомолье, – сказал человек. – Ибо надо тебе знать, что я иду в Альзенберг, как принято, молить божью мать о том, чтобы беременная жена моя выкинула ребёнка, зачатого в моём отсутствии. Чтобы добиться такой великой милости, надо, начиная с двадцатого шага от своего

дома, плясать вплоть до первой ступеньки соборной лестницы, пятась задом и не произнося ни слова. А теперь из-за тебя приходится мне всё начать сначала.

Уленшпигель успел поднять свою палку и сказал:

– Я научу тебя, негодяй, как пользоваться милостью богородицы для того, чтобы убивать детей во чреве матери.

И он так отлупил злого рогоносца, что тот полумёртвый остался на дороге.

И дальше раздавались стенания богомольцев, звуки скрипок, дудок, рожков и волынок, и, как чистый фимиам, подымался к небу запах жареного мяса.

XXXVII

Клаас, Сооткин и Неле сидели кружком у очага и разговаривали о странствующем богомольце.

– Девочка, – сказала Сооткин, – отчего ты не могла силой чар молодости удержать его навсегда у нас?

– Увы, – отвечала Неле, – не могла.

– Потому, – сказал Клаас, – что есть какие-то другие чары, заставляющие его вечно носиться с места на место, – если только не занята его глотка.

– Злой, противный! – вздохнула Неле.

– Злой – согласна, – сказала Сооткин, – но противный – нет. Может быть, сын мой Уленшпигель не какой-нибудь римский там или греческий красавец, но это ведь ещё не беда. Ибо у него – быстрые фландрские ноги, острые карие глаза, как у Франка из Брюгге, а нос и рот – точно их сделали две лисы, отлично постигшие искусства ваяния и лукавства.

– А кто, – спросил Клаас, – кто создал его праздные руки и ноги, которые слишком охотно устремляются за развлечениями?

– Их создало его не в меру юное сердце, – ответила Сооткин.

XXXVIII

Катлина простыми травами вылечила у Спильмана быка, свинью и трёх баранов. Но корову Яна Бэлуна ей не удалось вылечить. И он обвинил её в колдовстве. Он утверждал, что она околдовала корову, потому что она поглаживала её, когда давала ей снадобье, и разговаривала с ней, конечно, на бесовском наречии. Ибо честный христианин не умеет разговаривать с тварью бессловесной.

Вышеупомянутый Ян Бэлун присовокупил, что он сосед Спильмана и что у последнего Катлина вылечила быка, свинью и баранов. И убила она его корову, конечно по наущению Спильмана, который позавидовал, что его, Бэлуна, поля возделаны лучше и приносят больше дохода. По свидетельству Питера Мелемистера, человека почтенного и известного, и вышеупомянутого Яна Бэлуна, заверивших, что Катлина известна в Дамме как ведьма и, несомненно, убила корову, Катлина была взята под стражу и присуждена к пытке, которая должна продолжаться до тех пор, пока она не сознается в своих злодеяниях и преступлениях.

Её допрашивал судья, вечно раздражённый, так как целый день пил водку. Пред ним и пред судом Фирсхаро⁵³ была она подвергнута первому допросу под пыткой и давала показания.

Палач раздел её донага, сбрил все волосы на её теле и осмотрел всю, не скрывает ли она какого-нибудь чародейства.

Не найдя ничего, он привязал её верёвками к скамье. Она говорила:

– Мне стыдно лежать так голой пред мужчинами. Пошли мне смерть, пресвятая дева Мария!

Палач прикрыл ей мокрым полотном грудь, живот и ноги и, подняв скамью, стал вливать в неё горячую воду – так много, что вся она точно разбухла; потом он опрокинул её со скамьей.

Судья спросил, сознаётся ли она в преступлении. Она ответила знаком, что нет. В неё влили ещё горячей воды, но Катлина извергла всё обратно.

Затем, по указанию лекаря, её развязали. Она не говорила ничего, но била себя по груди, чтобы показать, что горячая вода обожгла её. Увидав, что она оправилась от первой пытки, судья обратился к ней:

– Сознайся, что ты ведьма и околдовала корову.

– Не могу я в этом сознаться, – отвечала она, – я люблю всех животных, сколько могу моим слабым сердцем, и я скорее причинила бы зло себе, чем им, ибо ведь они беззащитны. Я употребляла для лечения безвредные травы.

Но судья сказал:

– Ты давала отраву, так как корова умерла.

– Господин судья, – возразила она, – вот я перед вами и вся в вашей власти, и всё же я решаюсь сказать вам, что животное так же, как человек, может умереть от болезни, несмотря на помощь костоправа и лекарей. И я клянусь господом нашим Иисусом Христом, пострадавшим на кресте за грехи наши, что я не хотела сделать корове ничего дурного, но лечила её домашними средствами.

Судья пришёл в бешенство:

– Эта проклятая баба отучится у меня оправдываться. Приступить ко второй пытке!

И он выпил большой стакан водки.

⁵³ *Фирсхаро* (буквально: «четыре скамьи»). Так назывался общинный суд, собиравшийся, по обычаю, под председательством представителя верховной власти (балы, коменданта), с участием наследственных старшин (эшевенгов) и выборного мэра (бургомистра).

Палач посадил Катлину на крышку дубового гроба, стоявшего на козлах. Крышка сходилась кверху острым ребром, точно лезвие ножа. В печи горел жаркий огонь, так как на дворе стоял ноябрь.

Катлине, сидевшей на ребре гроба, надели на ноги тесные сапоги из свежей кожи и пододвинули к огню. Когда острые ребра и кольшки стали впиваться в её тело, а жар нагрел и стиснул кожу сапог, сдавивших ей ноги, она закричала:

– Ой, больно, больно! Дайте мне яду!

– Пододвиньте ближе к огню, – сказал судья.

И он стал допрашивать Катлину:

– Как часто садилась ты на помело и летала на шабаш? Как часто гноила хлеб на корню, плоды на дереве, дитя во чреве матери? Как часто делала ты двух братьев заклятыми врагами, двух сестёр – злобными соперницами?

Катлина хотела ответить, но не могла, и лишь шевельнула рукой, точно желая сказать: нет.

На это судья сказал:

– Она заговорит, когда почувствует, как тает её бесовский жир. Пододвиньте её к огню.

Катлина кричала.

– Попроси сатану, пусть он прохладит тебя, – сказал судья.

Она сделала движение, чтобы сбросить сапоги, дымившиеся от раскалённой печи.

– Проси сатану, пусть он разует тебя, – сказал судья.

Пробило десять часов: это было время завтрака злодея. Он вышел с палачом и с судебным писарем, оставив Катлину пред огнём в застенке.

В одиннадцать они возвратились и застали Катлину окоченевшей и неподвижной.

– Кажется, она умерла, – сказал писарь.

Судья приказал палачу спустить её с гроба и снять с неё сапоги. Но это было невозможно, пришлось разрезать их: ноги Катлины были залиты кровью.

Судья думал об обеде и смотрел на Катлину, не произнося ни слова. Но затем она пришла в себя, упала на пол, не могла, несмотря на все усилия, подняться и сказала судье:

– Ты хотел меня взять в жёны; теперь не получишь. Четырежды три – священное число, тринадцать – суженый.

И хотя судья хотел что-то сказать, она продолжала:

– Тише, тише; его слух тоньше, чем у архангела, который на небе считает биение сердца праведника. Почему ты пришёл так поздно? Четырежды три – святое число, оно убьёт всех, кто вожделел ко мне.

– Она блудодействует с дьяволом, – сказал судья.

– Она сошла с ума от пытки, – отвечал судейский писарь.

Катлину отвели обратно в тюрьму. Через три дня собрался суд старшин, и, по рассмотрению дела, Катлина присуждена была к наказанию огнём.

Палач с помощниками привели её на Большую площадь в Дамме, где уже устроен был помост. Туда возвели её; там же заняли места профос, глашатай и судья.

Трижды прозвучала труба городского глашатая. Затем он обратился к народу и провозгласил:

– Власти города Дамме сжалились над осуждённой Катлиной и избавили её от наказания, согласно с самыми строгими предписаниями городских законов. Но, чтобы показать, что она всё-таки ведьма, будут сожжены её волосы; она уплатит двадцать червонцев штрафа и изгоняется на три года из Дамме и его округа под страхом отсечения руки.

И народ приветствовал эту жестокую милость.

Затем палач привязал Катлину к столбу, положил пучок пакли на её выбритую голову и зажёг. Пакля медленно горела, а Катлина плакала и кричала.

Потом её развязали и вывезли за пределы общины Дамме в тележке. Ибо ноги её были обожжены.

XXXIX

Уленшпигель дошёл уже до Герцогенбуша в Брабанте. Отцы города хотели его сделать местным шутом, но он отклонил эту честь.

– Странствующему богомольцу, – сказал он, – не подобает быть шутком оседлым, он шутит только в корчмах и по дорогам.

В это время Филипп, бывший также королём Англии⁵⁴, прибыл обозревать своё будущее наследие – Фландрию, Брабант, Геннегау, Голландию и Зеландию. Ему шёл двадцать девятый год; в его сероватых глазах затаилась гнетущая тоска, злобное лицемерие и жестокая непреклонность. У него было застывшее лицо и яйцевидная голова, покрытая рыжеватыми волосами, его худощавое тело и тонкие ноги как бы одеревятели. Речь была медлительна и невнятна, точно рот был набит шерстью.

Между турнирами, играми и празднествами он осматривал весёлое герцогство Брабантское, богатое графство Фландрское и прочие свои владения. Повсюду он приносил присягу соблюдать права и вольности стран. Когда в Брюсселе⁵⁵ он клялся на евангелии не нарушать Золотой буллы Брабанта⁵⁶, его рука так сжалась от судороги, что он должен был снять её с священной книги.

Затем он отправился в Антверпен, где к его прибытию было сооружено двадцать три триумфальных арки. Город издержал двести восемьдесят семь тысяч флоринов на эти арки и на костюмы для тысячи восьмисот семидесяти девяти купцов, которые были одеты в пурпурный бархат, а также на богатую одежду для четырехсот шестнадцати лакеев и блестящее шёлковое одеяние четырёх тысяч одинаково одетых граждан. Многочисленные празднества были даны риторками почти всех нидерландских городов.

Среди шутов и шутих здесь можно было видеть «Принца любви» из Турне⁵⁷ верхом на свинье по имени Астарта; «Короля дураков» из Лилля⁵⁸, который вёл лошадь за хвост, идя вслед за нею; «Принца развлечений» из Валансьена, который развлекался тем, что считал ветры своего осла; «Аббата наслаждений» из Арраса⁵⁹, который тянул брюссельское вино из бутылки, имевшей вид молитвенника: как сладостны были ему эти молитвы; «Аббата предусмотрительности» из Ата⁶⁰, одетого лишь в дырявую простыню и разные сапоги: зато у него была колбаса, обеспечивающая его брюхо; затем «Главаря бесшабашных» – молодого парня, который трясся верхом на пугливой козе среди толпы, подсакивал от толчков и прыжков; «Аббата серебряного блюда» из Кенуа⁶¹, который всё старался усестись на блюде, стоявшем на спине лошади, приговаривая, что «нет такой большой скотины, чтобы она не изжарилась на огне».

⁵⁴ «Филипп, бывший также королём Англии». Филипп был мужем английской королевы Марии Тюдор, на которой он женился 25 июля 1554 г. Вступая в брак, Филипп получил от своего отца королевство неаполитанское и герцогство миланское. Парламент решительно отверг предложение Марии короновать Филиппа королём Англии, так что Филипп был только мужем английской королевы. Описанные здесь празднества относятся не ко времени его женитьбы на Марии Тюдор, а к его первому посещению Нидерландов в 1549 г., когда он действительно приехал «обозреть свое будущее наследие» и когда провинции признали его, хотя он и произвёл на своих будущих подданных тяжёлое впечатление.

⁵⁵ Брюссель – главный город провинции Брабант и столица Нидерландов.

⁵⁶ «Золотая булла Брабанта». К особо важным государственным актам привешивался золотой оттиск печати, и они именовались «золотыми буллами», т. е. грамотами. Золотая булла Брабанта называлась Joyeuse Entrée, что дословно значит «радостный въезд». Эта конституционная грамота обеспечивала Брабанту такие права и вольности, какими не пользовались другие нидерландские провинции. Каждый новый герцог подтверждал эту золотую буллу Брабанта при торжественном въезде в Брюссель, отчего и самую грамоту окрестили «Радостный въезд».

⁵⁷ Турне – нидерландский город и крепость на р. Шельде, вблизи французской границы.

⁵⁸ Лилль – город в западной Фландрии, теперь в Северном департаменте Франции.

⁵⁹ Аррас – столица нидерландского графства Артуа, теперь главный город французского департамента Па де Кале.

⁶⁰ Ат – город в нидерландском графстве Геннегау.

⁶¹ Кенуа (Ле Кенуа) – город и крепость в 14 км. от Валансьена, теперь – в Северном департаменте Франции.

Вся эта компания забавляла людей всякой невинной бессмыслицей, но король сидел мрачный и унылый.

В тот же вечер маркграф антверпенский, бургомистры, начальство и духовенство собрались на совещание, дабы выдумать такую игру, которая рассмешила бы короля Филиппа.

– Слышали ли вы, – сказал маркграф, – о Пьеркине Якобсене, шуте города Герцогенбуша⁶², который так прославился своими шутками?

– Да, – отвечали они.

– Пошлём за ним – пусть покажет, что умеет. У нашего шута точно свинцовые ноги.

– Что ж, пошлём за ним, – решили все.

Когда гонец антверпенский прибыл в Герцогенбуш, ему сообщили, что шут Пьеркин лопнул со смеху, но что у них есть проезжий шут по имени Уленшпигель. Его нашёл гонец в одном трактире, где тот ел рагу из ракушек, украшая выеденными раковинками грудь сидевшей подле девушки.

Уленшпигель был очень польщён тем, что посланный антверпенской общины явился за ним, и не только сам прискакал на прекрасном амбахтском коне, но держал другого такого же коня на поводу.

Не слезая с коня, гонец спросил Уленшпигеля, может ли он выдумать такой новый фокус, чтобы заставить смеяться короля Филиппа.

– У меня их целые залежи под волосами, – отвечал Уленшпигель.

И они поскакали. Кони летели, закусив удила и неся на себе гонца и Уленшпигеля в Антверпен.

Уленшпигель явился пред маркграфом, обоими бургомистрами и общинными старейшинами.

– Что ты собираешься делать? – спросил маркграф.

– Полететь вверх.

– Как же ты это сделаешь?

– А знаете, что стоит меньше, чем лопнувший пузырь?

– Нет, не знаю, – сказал маркграф.

– Разоблачённая тайна, – ответил Уленшпигель.

Праздничные герольды уже красовались на своих великолепных конях в красной бархатной упряжи и разъезжали по всем большим улицам, площадям и перекрёсткам города. Трубя в трубы и барабаны в литавры, они объявляли всем *signorkes* и *signorkinnes*, что Уленшпигель, шут из Дамме во Фландрии, будет на набережной летать по воздуху и что при этом на помосте будет восседать король Филипп со своею высокородной, знатной и достославной свитой.

Перед помостом был дом, построенный по итальянскому образцу; вдоль крыши его тянулся жолоб. На жолоб выходило окошко из чердака.

В день представления Уленшпигель проехал на осле по городу; скороход бежал рядом с ним. Уленшпигель был в красном шёлковом платье, данном ему городским управлением. Его головной убор составлял такой же красный колпак с двумя ослиными ушами, на кончиках которых болтались бубенчики. На шее была цепь из медных блях, на которых выдавлен был герб города Антверпена. На рукавах его полукафтаны у локтей висели бубенчики. Носки его вызолоченных башмаков тоже кончались бубенчиками.

Его осёл был в красной шёлковой попоне, и на каждом бедре осла красовался вышитый золотом герб города Антверпена.

Слуга в одной руке вертел ослиную голову, в другой – прут, на конце которого мотался коровий колокольчик.

Уленшпигель оставил на улице своего слугу и осла и влез на дождевой жолоб.

⁶² Герцогенбуш – город в северном Брабанте.

Здесь он загремел своими бубенчиками, широко расставил руки, как будто хотел полететь, потом наклонился к королю Филиппу и сказал:

– Я думал, что я единственный дурак в Антверпене, но вижу, что этот город кишит дураками. Если бы вы все сказали мне, что собираетесь лететь, я бы вам не поверил. А приходит дурак, объявляет, что полетит, – и вы верите. Как я могу полететь, когда у меня нет крыльев?

Одни смеялись, другие бранились, но все говорили:

– Как-никак, а дурак говорит правду.

Но король Филипп был неподвижен, точно каменная статуя.

Общинные власти говорили между собой:

– Поистине не стоило устраивать праздник для такой кислой обrazyны.

И они уплатили Уленшпигелю три флорина, с которыми он и отправился в путь, после тщетной попытки оставить у себя своё красное шёлковое платье.

– Что такое три флорина в кармане молодого человека? Снежинка в пламени, полная бутылка перед глоткой пьяницы. Три флорина. Листья падают с деревьев и вновь вырастают, флорины же, выскользнув из кармана, уже не возвращаются обратно; бабочки пропадают вместе с летом, а флорины исчезают быстрее, хотя в них два эстерлинга⁶³ и девять асов веса.

Так бормотал Уленшпигель, внимательно рассматривая свои три флорина.

– Какой гордый здесь вид у императора Карла в его панцире и шлеме, в одной руке меч, в другой держава – изображение нашей бедной земли. Божией милостью он – император римский, король испанский и прочие, и прочие, и, право, он чрезвычайно милостив к нашей земле, этот броненосный император. А на обороте – гербы с обозначением всяких его званий и владений, графских, княжеских и других, и с прекрасным девизом: «*Da mihi virtutem contra hostes tuos*» – «Дай мне силу против твоих врагов». Поистине он был достаточно силен против реформатов⁶⁴, у которых конфисковал их имущество и получил его в наследство. Ах, если бы я был императором Карлом, я бы для всех людей начеканил флоринов, все были бы богаты, и никто бы не работал.

Но сколько ни любовался Уленшпигель своими красивыми монетами, все они отправились в страну беспутства под звон бутылок и дребезжание кружек.

⁶³ Эстерлинг – нидерландская мера веса для золота, серебра или монет; равняется полутора граммам. В эстерлинге – 32 аса.

⁶⁴ *Реформаты* – сторонники наиболее распространённого в Нидерландах протестантского вероучения, кальвинисты. *Жан Кальвин* (1509–1564) – француз, возглавивший реформацию в Женеве (Швейцария); опираясь на этот город, он распространял своё учение во Франции, Нидерландах и других странах. Кальвинизм отличался от лютеранства большей политической активностью. «Где бы кальвинизм ни появлялся, он повсюду вступал в борьбу, – говорит историк нидерландской революции А. Пиренн. – Во всех странах, где он внедрялся, он открывал эру религиозных войн».

XL

Когда Уленшпигель в своём красном шёлковом костюме показался на дождевом жолобе, он не видел Неле, которая, смеясь, смотрела на него из толпы. Она жила в это время в Боргерхауте, под Антверпеном, и сказала себе: «Если какой-то шут собирается летать пред королём Филиппом, то это может быть только Уленшпигель».

Задумчиво шёл Уленшпигель по дороге и не слышал поспешных шагов за собой, но вдруг почувствовал две руки, лёгшие на его глаза. Он узнал эти руки и спросил:

– Это ты?

– Да, – отвечала она, – бегу за тобой с тех пор, как ты вышел из города. Пойдём со мной.

– Где же Катлина?

– О, ты не знаешь, что её пытали как ведьму и затем на три года изгнали из Дамме, что ей жгли ноги и паклю на голове. Я говорю это тебе, чтобы ты не испугался, когда увидишь её: она сошла с ума от боли. Часами смотрит она на свои ноги и приговаривает: «Гансик, мой нежный дьявол, посмотри, что сделали с твоей милой. Бедные мои ноги – точно две раны». И заливаясь слезами, говоря: «У других женщин есть муж или любовник, а я живу на этом свете как вдова». Тогда я начинаю уверять её, что её Гансик возненавидит её, если она кому-нибудь скажет о нём, кроме меня. И она слушается меня, как дитя малое; только как увидит вола или корову, бросается бежать от них изо всех сил: всё пытку вспоминает. И тогда не удержит её ничто – ни забор, ни речка, ни канава, – бежит, пока не упадёт от усталости где-нибудь на перекрёстке или у стены дома. Там я поднимаю её и перевязываю кровоточащие ноги. Я думаю, что когда жгли паклю на её голове, ей и мозги сожгли.

Удручённые мыслями о Катлине, они дошли до дома и увидели её на освещенной солнышком скамейке у стены.

– Узнаёшь ты меня? – спросил Уленшпигель.

– Четырежды три – святое число, – ответила она, – но тринадцать – это чортова дюжина. Кто ты, дитя этой юдоли страданий?

– Я – Уленшпигель, сын Клааса и Сооткин.

Она подняла голову и узнала его; поманив его пальцем, она наклонилась к уху:

– Когда ты увидишь того, чьи поцелуи холодны, как снег, скажи ему, Уленшпигель, – пусть придёт ко мне.

Потом, показав на свою сожжённую голову, она сказала:

– Больно мне. Они забрали мой разум, но, когда Гансик вернётся, он наполнит мою голову; она теперь совсем пустая. Слышишь – она звенит, как колокол, – это моя душа стучит в дверь, рвётся наружу, потому что кругом горит. Если Гансик придёт и не наполнит мне голову, я скажу ему – пусть дыру проделает ножом. Стучит моя душа, рвётся на свободу. Больно, больно мне. Я, верно, умру скоро. Я больше не сплю, – всё жду его. Пусть он наполнит мою голову. Да...

И она забылась и застонала.

И крестьяне, возвращавшиеся с полей, потому что вечерний колокол уже звал их домой, проходя мимо Кат-лины, говорили:

– Вон дурочка.

И крестились.

Неле и Уленшпигель плакали. И Уленшпигель должен был идти дальше в путь.

XLI

Тем временем, продолжая паломничать, он поступил на службу к одному человеку по имени Иост, по прозванию Квабаккер, то есть сердитый булочник – такая у него была злобная рожа. Каждую неделю Уленшпигель получал от хозяйки три чёрствых хлеба, а жилищем ему служил чердак под крышей, где здорово сквозило и лило.

В отместку за столь дурное обращение Уленшпигель устраивал хозяину всякие пакости. Вот одна из них. Если собираются печь хлеб рано утром, то просеивать муку надо ночью. Однажды в лунную ночь Уленшпигель попросил свечу, чтоб было видно, как сеять. Хозяин и говорит:

– Сей муку на лунном свету.

Уленшпигель исполнил приказание: стал сыпать муку на землю, освещенную лунным светом.

Утром пришёл хозяин посмотреть работу Уленшпигеля и видит, что тот всё ещё сеет.

– Что такое! – закричал он. – Или мука ничего не стоит, что ты её на землю сыплешь?

– Я сеял на лунном свету, как вы приказали, – ответил Уленшпигель.

– Осёл ты безмозглый, где же твоё сито?

– Я думал, что у вас луна – новоизобретенное сито. Но беда не велика – я соберу муку.

– Да ведь уже поздно месить тесто и печь хлеб.

– Хозяин, – сказал Уленшпигель, – у соседа на мельнице готовое тесто: сбегая и принесу.

– Убирайся на виселицу, оттуда принесёшь что-нибудь!

– Иду, – сказал Уленшпигель.

Он побежал к месту казней, нашёл там высохшую руку казнённого и принёс её хозяину со словами:

– Вот тебе заколдованная рука, она делает невидимкой всякого, у кого она лежит в кармане. Вот ты и скроешь свою злость.

– Я пожалуюсь на тебя в общину, и ты увидишь, что значит нарушать права хозяина.

Когда оба они стояли перед бургомистром и булочник хотел уже начать перечисление многочисленных злодеяний Уленшпигеля, он вдруг увидел, что тот необыкновенно широко раскрыл глаза. Он пришёл в такую ярость, что прервал свои жалобы криком:

– Да чего тебе надо?

– Ты сказал мне, что я увижу, как тебя не слушаться. Вот я и хочу увидеть.

– Долой с моих глаз! – закричал булочник.

– Если бы я был на твоих глазах, я бы с них мог сойти только через твои ноздри.

Увидев, что тяжущиеся плетут какую-то чепуху, бургомистр отказался слушать их дальше.

Вместе они вышли на улицу. Булочник поднял палку, но Уленшпигель увернулся и сказал:

– Хозяин, ты хочешь колотушками высеять из меня муку: оставь себе отруби – это твоя злость; я возьму себе муку – это моё веселье.

Потом он повернулся к нему задом и прибавил:

– А вот тебе и печка, пеки что угодно.

XLII

Всё идя вперёд, Уленшпигель был бы рад, чтобы путь скрадывался для него, да булыжник по дороге был слишком тяжёл: не украдёшь.

Он направился наудачу в Ауденаарде⁶⁵, где стоял фламандский гарнизон, охранявший город от французских банд, опустошавших страну, как саранча.

Начальствовал над фламандскими рейтарами капитан по имени Корнюин, фрисландец по рождению. Они тоже рыскали по окрестностям и грабили население, которое, как это обычно бывает, страдало от обеих сторон.

Всё шло на пользу рейтарам – куры, цыплята, утки, голуби, телята, свиньи. Однажды, когда они возвращались, нагруженные добычей, капитан и его офицеры увидели на дороге Уленшпигеля, спавшего под деревом. Ему снилось тушёное мясо.

– Ты чем промышляешь? – спросил капитан.

– Умираю с голода, – отвечал Уленшпигель.

– Но твоё занятие?

– Богомолец за свои прегрешения, созерцатель чужой работы, плясун по канату, изобразитель красоток, резчик черенков для ножей, артист на *gommel-pot* и трубач.

Трубачом назвал себя так смело Уленшпигель потому, что слышал, что, за смертью последнего стражника, состарившегося на этом месте, должность трубача в замке Ауденаарде свободна.

– Будешь городским трубачом, – сказал капитан.

Уленшпигель отправился с ним и был водворён на самой высокой башне городских укреплений. Его помещение продувалось со всех четырёх сторон; только южный ветер веял при этом лишь одним крылом.

Он получил приказ трубить в трубу, как только увидит неприятеля, а так как для этого голова должна быть свободна и глаза открыты, ему давали не слишком много есть и пить.

Капитан и его наемники сидели в башне и целыми днями обжирались за счёт округи. Здесь убили и слопали не одного каплуна, единственным преступлением которого был его жир. Об Уленшпигеле вечно забывали, он питался пустой похлёбкой, и запах яств, подымавшийся к нему в башню, совсем не услаждал его. Нагрянули французы и увели много скота. Уленшпигель не трубил.

Капитан поднялся к нему наверх.

– Почему ты не трубил? – спросил он.

– Нечем было отблагодарить вас за вашу кормёжку, – отвечал Уленшпигель.

На другой день капитан и его наемники устроили большое пиршество, но об Уленшпигеле опять никто не вспомнил. Только пирующие успели разгуляться, как Уленшпигель вдруг затрубил.

Убеждённые, что идут французы, капитан с солдатами бросили еду и вино, вскочили на коней и помчались за город. Но они не нашли там никого, кроме вола, который жевал свою жвачку, лёжа на солнце, и забрали его.

А Уленшпигель в это время набил себе брюхо мясом и вином. Капитан по возвращении застал его у дверей столовой; он покачивался на ногах и насмешливо смотрел на офицеров.

– Это предательство – трубить тревогу, когда нет никакого врага, и не трубить, когда он перед тобой! – закричал капитан.

⁶⁵ *Ауденаард* (Оденард) – город в восточной Фландрии, в 29 км. к югу от Гента, на р. Шельде. Он славился своим полотном и, в особенности, коврами.

– Господин капитан, – ответил Уленшпигель, – в башне так дует, что ветер унёс бы меня, как пузырь, если бы я не вытрубил из себя дух. А хотите – повесьте меня хоть сейчас или в другой раз, когда вам понадобится ослиная шкура для барабана.

Капитан вышел, не сказав ни слова.

Между тем пришло известие, что высокомилоостивый император Карл со своей высоко-родной свитой собирается прибыть в Ауденаарде. По этому случаю городские власти снабдили Уленшпигеля парой очков, дабы он издали видел приближение его святейшего величества. Условились, что как только Уленшпигель увидит, что император направляется в Луппегем, в четверти мили от ворот Боргпоорта он трижды протрубит в свой рог.

Это давало обывателям возможность во-время зазвонить в колокола, приготовить фей-ерверк, поставить мясо на огонь и откупорить бочки.

Однажды около полудня – ветер задул с Брананта, небо было ясно – Уленшпигель увидел по луппегемской дороге толпу всадников на играющих конях; их перья развевались по воздуху; некоторые держали знамёна. На горделиво поднятой голове всадника, ехавшего впереди, была парчовая шляпа с длинными перьями. Он был в коричневом бархате с золотым шитьём.

Уленшпигель надел очки и увидел, что это император Карл V, который милостиво разре-шал обывателям Ауденаарде попотчевать его отборнейшими винами и изысканнейшими яст-вами, какие только у них были.

Всадники медленно подвигались вперёд, вдыхая свежий воздух, возбуждающий в чело-веке аппетит. Но Уленшпигель сказал себе, что они и так жрут обильно и не умрут, если попо-стятся один раз. И он спокойно смотрел на их приближение и не трубил.

Они гарцовали, смеясь и болтая, и мысль его величества обращалась к желудку с забо-той, достаточно ли там осталось места для пиршества в Ауденаарде. Император был удивлён и недоволен, что ни один колокол не возвещает о его прибытии.

Вдруг в городские ворота ворвался крестьянин с криком, что он видел, как к городу приближается отряд французов, чтоб всё сожрать и разграбить.

Немедленно сторож запер ворота и послал общинного служку сказать, чтобы заперли все прочие ворота. Рейтары кутили, ничего не подозревая.

Чем ближе подъезжал император, тем больше он гневался, что колокола не трезвонят, пушки не палят, аркебузы не салютуют. Напрасно напрягал он слух. Он не слышал ничего, кроме получасового боя башенных часов. Так подъехал он к воротам, нашёл их запертыми и постучал кулаком, чтобы ему открыли.

Свитские кавалеры, недовольные, как и его величество, сердито ворчали. Дозорный с крепостного вала закричал, что если они там не перестанут безобразничать, то он охладит их нетерпенье картечью.

Разъярённый император закричал:

– Слепая свинья, ты не узнаёшь своего императора?

Дозорный ответил:

– Золочёная свинья ничуть не лучше, чем первая встречная. Пока что известно, что гос-пода французы большие шутники: все знают, что император Карл ведёт войну в Италии и потому не может стоять у ворот Ауденаарде.

На это Карл и его свита закричали ещё громче:

– Если ты не откроешь, ты будешь изжарен на копье, как на вертеле. А перед этим про-глотишь свои ключи.

На шум прибежал из арсенала старый солдат, высунул нос из-за стены и заорал:

– Дозорный, ты ошибся. Это наш император, я узнал его, хотя он состарился с тех пор, как увёз отсюда Марию ван дер Гейнст⁶⁶ в замок Лалэн!

⁶⁶ Иоганна ван дер Гейнст. Во время осады города Турне осенью 1521 года ставка Карла V находилась в Ауденаарде.

От ужаса привратник упал на землю замертво. Солдат взял ключи и побежал отворять ворота.

Император спросил, почему его так долго заставили ждать. Выслушав объяснение солдата, его величество приказал опять запереть ворота, вызвать солдат Корньюина и повелел им открыть шествие с дудками и барабанами.

Вскоре поднялся колокольный трезвон.

И его величество с царственным грохотом прибыл на Большой рынок. В зале заседаний собрались бургомистры и старейшины: старейшина Ян Гигелер выбежал на шум и возвратился в зал заседаний с криком:

Keyser Karel is alhier! – то есть: император Карл здесь.

Испуганные этой вестью, бургомистры, советники и старшины поспешили из зала на улицу, чтобы приветствовать императора в полном составе, а слуги побежали по городу с приказами готовить потешные огни, палить из мортир, жарить птицу, открывать бочки.

Мужчины, женщины и дети бегали повсюду с криками: Keyser Karel is op't groot markt! – то есть: император Карл на Большом рынке!

На рынке собралась огромная толпа.

Пришедший в неистовую ярость император спросил обоих бургомистров, не достойны ли они виселицы за такое невнимание к своему повелителю.

Бургомистры ответили, что, конечно, достойны, но трубач Уленшпигель заслужил её ещё более, ибо, вслед за слухом о прибытии его величества, Уленшпигеля, снабжённого очками, посадили на башню и дали ему приказ трижды протрубить, как только он заметит приближение императора. Но он этого не исполнил. Император не смягчился и велел привести Уленшпигеля.

– Почему, – спросил он, – ты, несмотря на очки, не трубил при моём приближении?

Говоря это, он прикрыл глаза рукой от солнца и смотрел на Уленшпигеля сквозь пальцы.

Уленшпигель тоже прикрыл глаза рукою и ответил, что, с тех пор как он увидел, что его величество смотрит сквозь пальцы, он не хотел пользоваться очками.

На это император сказал, что он будет повешен, и городской привратник ответил, что так и следует. Бургомистры так были потрясены этим приговором, что не сказали ни слова ни за, ни против.

Явились палачи и помощники с лестницей и новой верёвкой, взяли Уленшпигеля за шиворот, и так шёл он мимо сотни рейтаров Корньюина, не сопротивляясь и бормоча про себя молитвы. А они зло издевались над ним.

Сбежавшийся народ говорил:

– Какая жестокость, за такой ничтожный проступок осудить на смерть несчастного юношу!

Была здесь толпа ткачей, они были вооружены и кричали:

– Не позволим повесить Уленшпигеля: это против законов Ауденаарде!

Так дошли они до поля Виселиц. Уленшпигеля взвели на лестницу, и палач надел ему петлю на шею. Ткачи столпились у виселицы. Верхом на коне высился профос. В руках у него был судейский жезл, которым он должен был, по приказанию императора, подать знак к исполнению казни.

Народ кричал:

– Милосердие! Помилуйте Уленшпигеля!

Уленшпигель, стоя на лестнице, крикнул:

– Помилуйте, ваше величество!

«Здесь, – говорит А. Пиренн, – он пленился Иоганной ван дер Гейнст, дочерью ткача ковров из соседней деревни Нюкерке. Несколько месяцев спустя она произвела на свет дочь, которую назвали Маргаритой, в честь правительницы страны Маргариты Австрийской». Эта побочная дочь императора – будущая правительница Нидерландов герцогиня Маргарита Пармская, правившая с 1559 г. по 1567 г., когда её сменил герцог Альба.

Император поднял руку и сказал:

– Если этот негодяй попросит меня о чём-нибудь, чего я не могу исполнить, он будет помилован.

– Говори, Уленшпигель! – закричал народ.

Женщины плакали и говорили:

– Ну что он, бедняга, может попросить? Ведь император всемогущ.

Все кричали:

– Говори, Уленшпигель!

– Ваше величество, – сказал он, – я не прошу ни денег, ни поместий, ни даже жизни, но прошу об одной вещи, за которую, однако, если я её назову, обещайте не колесовать и не бичевать меня, пока я сам не отойду к вечному блаженству.

– Обещаю, – сказал император.

– Прошу ваше величество, прежде чем я буду повешен, приблизиться ко мне и поцеловать в те уста, которыми я не говорю по-фламандски.

Император и весь народ расхохотались.

– Этой просьбы я не могу исполнить, и, стало быть, ты не будешь повешен, Уленшпигель.

Но бургомистра и старшин он присудил в течение шести месяцев носить на затылке очки: «Ибо, – сказал он, – если ауденаардцы не умеют смотреть передом, то пусть смотрят задом».

И по указу императорскому до сих пор эти очки красуются в гербе города.

А Уленшпигель потихоньку убрался с мешочком серебра, собранного для него среди женщин.

XLIII

В Льеже, на рыбном рынке, Уленшпигель увидел толстого юношу, который в каждой руке держал по кошолке; правая была полна всякой птицы, левую он наполнил форелями, угрями, щуками, камбалами.

Уленшпигель узнал Ламме Гудзака.

– Что ты здесь делаешь, Ламме? – спросил он.

– Ты знаешь, как здесь, в милом Льеже, любят нас, фламандцев. Следую за моей любовью.

А ты?

– Ищу хозяина, который дал бы мне хлеба за службу.

– Это сухая еда, – ответил Ламме, – лучше бы ты опустил в свою глотку чётки из жаворонков с дроздом в виде Credo.

– Ты богат? – спросил его Уленшпигель.

– Я потерял отца, мать и младшую сестру, которая так меня была, – отвечал Ламме. – Я их наследник и живу с одноглазой старухой, великим мастером кухонного искусства.

– Давай я понесу твою рыбу и птицу.

– Неси.

И они пошли по рынку.

– А ведь ты дурак, – вдруг сказал Ламме. – И знаешь почему?

– Почему?

– Носишь рыбу и дичь не в желудке, а в руках.

– Это верно, Ламме. Но с тех пор как у меня нет хлеба, дрозды и смотреть на меня не хотят.

– Наешься дроздов вволю, Уленшпигель, когда будешь служить у меня, если позволит моя стряпуха.

По пути им встретилась очень хорошенькая и милая девушка в шёлковом платье, которая бросила ласковый взгляд на Ламме. Он указал на неё Уленшпигелю.

Вслед за девушкой шёл старик, её отец, и нёс две корзины – одну с дичью, другую с рыбой.

– Вот кого я выбрал себе в жёны, – сказал Ламме.

– Да, – ответил Уленшпигель, – я знаю её: она фламандка из Цоттегема, живёт в улице Винав д'Иль, соседи говорят, что мать вместо неё подметает улицу перед домом, а отец гладит её рубашки.

– Она взглянула на меня, – вдруг обрадовавшись, сказал Ламме, не обращая внимания на слова Уленшпигеля.

Они подошли к дому Ламме, у сводов моста, и постучали в дверь. Им открыла кривая служанка. Уленшпигель увидел, что она стара, длинна, сухопара и сварлива.

– Ла-Санжин, – обратился к ней Ламме, – возьмишь этого парня в помощники?

– Возьму на пробу.

– Попробуй; пусть узнает блаженство твоей кухни.

Ла-Санжин подала на стол три чёрных колбасы, кружку пива, большой ломоть хлеба.

Пока Уленшпигель ел, Ламме выбрал и для себя колбасу.

– Знаешь, – сказал он, – где обитает наша душа?

– Нет, Ламме.

– В нашем желудке: это она неустанно опустошает его, чтобы вновь ввести в наше тело жизненную силу. Кто лучший спутник нашей жизни? Вкусные и тонкие блюда и доброе маасское вино.

– Да, – сказал Уленшпигель, – колбаса – приятное общество для одинокой души.

– Он хочет ещё, – сказал Ламме, – дай ему ещё чего-нибудь, Ла-Санжин.

Она подала теперь белую колбасу.

Жадно глотая, Ламме впал в задумчивость и сказал:

– Когда я умру, мой желудок умрёт вместе со мной, а там, в чистилище, придётся поститься, и буду я таскать с собой это пустое обвислое брюхо.

– Чёрная была вкуснее, – заметил Уленшпигель.

– Шесть штук съел, довольно с тебя, – заявила Ла-Санжин.

– Здесь, знаешь, тебя будут хорошо кормить, – сказал Ламме, – есть ты будешь то же, что и я.

– Буду иметь в виду, – сказал Уленшпигель.

Всё это привело его в хорошее настроение. Поглощённые колбасы вдохнули в него такую бодрость, что он в этот день вычистил все котлы, сковороды и горшки, и они блестели, как солнце.

Жил он в этом доме привольно, часто навещался в кухню и погреб, предоставив кошкам чердак. Однажды Ла-Санжин, жаря двух цыплят, приставила его вертеть вертел, пока она сходит на рынок за кореньями для приправы.

Когда цыплята изжарились, Уленшпигель съел одного из них.

Войдя в кухню, Ла-Санжин закричала:

– Здесь были два цыплёнка, где другой?

– Посмотри своим другим глазом, – ответил Уленшпигель, – увидишь обоих.

В бешенстве бросилась она к Ламме с жалобой. Тот сошёл в кухню и обратился к Уленшпигелю:

– Что ж ты издеваешься над моей служанкой? Была ведь пара цыплят.

– Верно, Ламме. Но когда я поступил к тебе, ты сказал, что я буду есть то же, что и ты. Здесь была пара цыплят – одного съел я, другого съешь ты. Моё удовольствие уже прошло, твоё ещё предстоит тебе. Разве тебе не лучше, чем мне?

– Да, – ответил Ламме, смеясь, – делай только всё так, как Ла-Санжин прикажет: тогда придётся тебе делать только половину работы.

– Постараюсь, Ламме, – ответил Уленшпигель.

И всякий раз, как Ла-Санжин что-нибудь ему приказывала, он исполнял только половину. Посылала ли она его принести два ведра воды, он приносил одно. Шёл ли он в погреб нацедить из бочки кружку пива, он выливал по дороге полкружки в свою глотку, и так далее.

Наконец это надоело Ла-Санжин, и она заявила Ламме, что если этот бездельник останется в доме, она сейчас бросает службу.

Ламме спустился к Уленшпигелю.

– Придётся тебе уйти, сын мой, – сказал он, – хотя ты здесь порядочно подкормился. Слышишь, петух кричит: два часа дня – значит, будет дождь. Не хочется мне выгонять тебя из дому в непогоду, но подумай, сын мой: благодаря своим жарким Ла-Санжин – страж моего бытия. Я не могу расстаться с нею, не рискуя жизнью. Ради создателя, сын мой, уходи; возьми эти три флорина и эту связку колбасок, чтобы облегчить себе трудный путь.

И Уленшпигель пошёл удручённый и с раскаянием думал о Ламме и его кухне.

XLIV

Стоял ноябрь в Дамме, как и везде, но зимы не было: ни снега, ни дождя, ни мороза.

Ничем не омрачённое солнце сияло с утра до вечера. Дети катались в пыли по улицам и переулкам. После ужина лавочники, купцы, золотых дел мастера, кузнецы и прочие ремесленники выходили в час отдыха на крылечко и глядели на вечно синий небосвод, на деревья, ещё покрытые зеленью, на аистов на крышах и на ласточек, всё не отлетавших. Розы отцвели в третий раз, и в четвёртый раз на них появились почки; ночи были тёплые, и соловьи заливались безустали. Жители Дамме говорили:

– Зима умерла, сожжём зиму.

И они соорудили громадное чучело с медвежьей мордой, длинной бородой из стружек и косматой гривой из льна, одели чучело в белое платье и торжественно сожгли его.

Клаас хмурился по этому случаю и не радовался ни синему небу, ни ласточкам, не собиравшимся улетать. Ибо никому в Дамме не нужен был уголь – разве только для кухни, для которой были у всех запасы, и никто не покупал у Клааса, а он истратил все свои сбережения на покупку угля.

Так стоял он у своего порога, и, когда свежий ветерок охлаждал кончик его носа, угольщик говорил:

– Ну, вот пришёл мой заработок.

Но свежий ветерок стихал, небо оставалось синим, листья не хотели падать. Клаас не согласился уступить за полцены свой уголь скупому Грейпстюверу, старшине рыбаков. И вскоре в его домике стало нехватать хлеба.

XLV

А король Филипп не страдал от голода и объедался пирожными подле своей супруги Марии Уродливой⁶⁷ из королевского дома Тюдоров. Он не любил её, но надеялся, оплодотворив эту хилую женщину, дать английскому народу государя-испанца.

Но на горе себе заключил он этот брак, подобный браку булыжника с горящей головнёй. В одном лишь они всегда были согласны – в истреблении несчастных реформатов: они их жгли и топили сотнями.

Когда Филипп не уезжал из Лондона или не уходил, переодетый, из дворца распутничать в каком-нибудь притоне, час ночного покоя соединял супругов.

Королева Мария в ночной рубаше из фламандского полотна с ирландскими кружевами стояла у супружеской постели, а Филипп рядом с ней, как прямой столб, приглядывался, не видно ли на теле жены признаков близкого материнства; но он ничего не видел, приходил в бешенство и злобно молчал, рассматривая свои ногти.

Бесплодная, похотливая женщина говорила ему страстные слова и, стараясь придать нежное выражение своим глазам, просила бесчувственного Филиппа о любви. Слезы, крики, мольбы – всё пускала она в ход, чтобы добиться ласки от человека, который не любил её.

Напрасно ломала она руки, бросалась к его ногам, напрасно, чтобы расшевелить его, смеялась и плакала одновременно, точно безумная. Ни смех, ни слёзы не могли смягчить твердыню этого каменного сердца.

Напрасно охватывала она его, точно влюблённая змея, своими худыми руками, напрасно прижимала к своей плоской груди узкую клетку, в которой жила изуродованная душа властелина. Он был недвижим, как пограничный столб.

И она, эта злосчастная дурнушка, старалась очаровать его. Она называла его всеми ласковыми именами, какие дают упоённые страстью женщины своим возлюбленным; Филипп рассматривал свои ногти.

Иногда он отвечал:

– Так и не будет у тебя детей?

Голова Марии падала на грудь.

– Разве я виновата в своём бесплодии?⁶⁸ – отвечала она. – Сжался надо мной: я живу, как вдова.

– Отчего у тебя нет детей? – спрашивал Филипп.

И королева, точно поражённая насмерть, падала на ковёр. Из глаз её лились только слёзы, но она плакала бы кровью, если бы могла, эта несчастная, сладострастная женщина.

Так мстил господь палачам за жертвы, которыми они усеяли Англию.

⁶⁷ *Мария Уродливая* – Мария Тюдор, известная в истории под именем Марии Кровавой (а не Уродливой) – английская королева с 1553 по 1558 г. Она была дочерью испанской принцессы Екатерины Арагонской и английского короля Генриха VIII, после которого царствовал (1547–1557) его несовершеннолетний сын Эдуард VI; при этих королях в Англии восторжествовала реформация. Царствование Марии Тюдор было для Англии временем восстановления католицизма. Ханжа, как и её мать, она отличалась большой жестокостью. Преследуя протестантов, она сотни их отправила на эшафот и на костёр. Протестантские историки окрестили её Кровавой, но не следует забывать (Маркс, «Хронологические выписки»), что ещё более кровавыми были и её отец, «чудовище» Генрих VIII, и «ультра-кровавая» королева-протестантка Елизавета, сводная сестра Марии Тюдор и её преемница (1558–1603). Мария Тюдор вышла замуж за Филиппа 25 июня 1554 г. и была старше его одиннадцатью годами. Известия о её брачном договоре были встречены пасквилями, карикатурами на испанцев и даже вооружёнными беспорядками. Англичане разгадали истинную цель Карла V: восстановив католицизм в Англии, ввести эту страну в русло испанской политики, направленной на создание всемирной абсолютной монархии.

⁶⁸ «Разве я виновата в своём бесплодии?» От брака с Филиппом у Марии Тюдор была девочка, и, следовательно, это место в «Уленшпигеле» является отступлением от исторической истины.

XLVI

В народе шёл слух, что император Карл собирается лишить монахов принадлежавшего им права наследовать имущество лиц, умерших в монастыре, и что папа этим чрезвычайно недоволен.

Уленшпигель в это время скитался по берегам Мааса и думал о том, что император умеет извлечь из всего выгоду: ибо он наследует имущество и в тех случаях, когда нет других наследников. Уленшпигель сидел на берегу, забросив свои удочки с доброй приманкой, жевал чёрствую корку чёрного хлеба и жалел, что нет бургонского оросить эту сухую закуску. Но не все наши желания сбываются. Он это знал хорошо.

И однако он бросал кусочки хлеба в воду, полагая, что кто не разделяет своей пищи с ближним, тот вовсе недостоин её.

К крошкам хлеба подплыл пескарь; сперва он стал их обнюхивать, потом коснулся их кончиком морды и, наконец, широко раскрыл свою невинную пасть, точно в надежде, что хлеб сам влезет туда. Но пока он смотрел вверх, вдруг стрелой налетела на него коварная щука и разом проглотила.

Так же поступила она с карпом, который, не думая об опасности, ловил на лету мошек. Наевшись досыта, щука неподвижно остановилась в реке, не обращая внимания на рыбью мелкоту, стремглав бросающуюся во все стороны при виде щуки. Но её спокойная важность была нарушена: вдруг с разинутой пастью бросилась на неё другая щука, голодная и прожорливая. Закипел яростный бой, страшны были раны с обеих сторон, и вода вокруг покраснела от их крови. Поевшая щука не могла справиться с голодной, которая всё отскакивала, разбегалась и, точно пуля, бросалась на противницу. Та разинула пасть, захватила половину головы врага, хотела высвободиться – и не могла: её зубы были загнуты внутрь. И обе отбивались друг от друга, совсем обессилив.

В своей возне они не заметили привязанного к шёлковой леске крючка, который вцепился в плавник сытой щуки; он захватил её, потянул вместе с врагом из воды и без всякого почтения выбросил обеих на траву.

Потроша их, Уленшпигель сказал:

– Милые мои щучки, вы вроде как император и папа, которые стараются слопать друг друга, и не я ли народ, который среди их свары, в час, какой угодно будет назначить господу богу, подцепит обеих крючком.

XLVII

Катлина всё ещё жила в Боргергауте и скиталась по окрестностям, приговаривая:

– Гансик, муж мой, они зажгли огонь на моей голове; проделай дыру, чтобы душа моя могла вырваться наружу. Ах, она стучится там, и каждый удар – точно нож острый.

И Неле ходила за матерью и, сидя подле неё, думала с тоской о своём друге Уленшпигеле.

А Клаас в Дамме попрежнему собирал в вязанки хворост, продавал уголь и часто погружался в глубокую печаль, когда вспоминал о том, что Уленшпигель изгнан и долго-долго ещё не вернётся домой.

Сооткин всё сидела у окна и смотрела, не покажется ли её сын.

А он, находясь в это время в окрестностях Кёльна, вдруг решил, что им овладела склонность к садоводству.

И поступил на службу к Яну де Цуурсмюлю, который, будучи предводителем ландскнехтов, только посредством выкупа спасся как-то от виселицы и потому питал непобедимый ужас перед коноплём, которая на фламандском наречии называлась тогда *кеннип*.

Однажды Ян де Цуурсмюль, давая Уленшпигелю очередную работу, повёл его на своё поле, и здесь они увидели участок земли, весь поросший зелёной коноплём.

Ян де Цуурсмюль сказал Уленшпигелю:

– Всякий раз, как увидишь это мерзостное растение, загадь его, ибо оно служит для колесований и виселиц.

– Загажу непременно, – отвечал Уленшпигель.

Однажды, когда Ян де Цуурсмюль сидел за столом с несколькими собутыльниками, повар приказал Уленшпигелю:

– Сходи-ка в погреб и принеси зеннип (то есть горчицы).

Уленшпигель по озорству якобы спутал *зеннип* и *кеннип*, нагадил в погребе в горшок с горчицей и, посмеиваясь, принёс к столу.

– Чего смеёшься? – спросил Ян де Цуурсмюль. – Думаешь, наши носы из железа, что ли? Съешь этот зеннип, коли сам его приготовил.

– Предпочёл бы жаркое с корицей, – ответил Уленшпигель.

Ян де Цуурсмюль вскочил, чтобы отколотить его.

– Кто-то нагадил в горшок с горчицей! – закричал он.

– Хозяин, – ответил Уленшпигель, – разве вы забыли, как я шёл за вами к вашему полю, где растёт *зеннип*. Там, указав мне на коноплю, вы сказали: «Везде, где увидишь это растение, загадь его, ибо оно служит для колесования и виселицы». Я его и загадил, хозяин, загадил и опозорил: не бейте же меня за моё послушание.

– Я сказал *кеннип*, а не *зеннип*, – закричал в бешенстве Ян де Цуурсмюль.

– Хозяин, вы сказали *зеннип*, а не *кеннип*, – возразил Уленшпигель.

Долго они препирались; Уленшпигель говорил тихо, Ян де Цуурсмюль кричал, как орёл, путая *зеннип*, *кеннип*, *кемп*, *земп*, точно моток кручёного шёлка.

И собутыльники хохотали, точно черти, пожирающие котлеты из доминиканцев⁶⁹ и почки инквизиторов.

Но Уленшпигель потерял службу у Яна де Цуурсмюля.

⁶⁹ *Доминиканцы* – монахи ордена святого Доминика. С 1232 г. на этот орден папа возложил обязанности духовного суда, инквизиции.

XLVIII

Неле всё тосковала о своей судьбе и о своей безумной матери.

Уленшпигель служил в это время у портного, который всегда говорил ему:

– Когда делаешь шов, шей плотно, чтоб ничего не было видно.

Уленшпигель сел в бочку и принялся за шитьё.

– Это ещё для чего? – вскричал портной.

– Уж когда шьёшь, сидя в бочке, наверное, ничего не будет видно.

– Садись-ка за стол и делай маленькие стежки, один подле другого, – понял теперь? И сделаешь из этого сукна «волка».

«Волком» в тех местах назывался крестьянский кафтан.

Уленшпигель взял сукно, разрезал его на куски и сделал из них чучело волка.

Увидев это, портной закричал:

– Что ты тут, чорт тебя дери, наделал?

– Волка сделал, – ответил Уленшпигель.

– Каналья! Я приказал, правда, тебе сделать волка, но ведь ты отлично знаешь, что волк – это крестьянский кафтан.

Спустя некоторое время хозяин приказывает ему:

– Перед сном, парень, подкинь-ка рукава к этой куртке.

Уленшпигель повесил куртку на гвоздь и целую ночь бросал в неё рукавами.

На шум пришёл, наконец, портной:

– Негодяй, что ты за новые шутки тут выкидываешь?

– Какие же шутки. Подкидываю рукава, как вы приказали, – да они всё не пристают к куртке.

– В этом нет ничего удивительного, и потому убирайся сейчас из моего дома. Посмотрим, будет ли тебе лучше на улице.

XLIX

Время от времени Неле, поручив Катлину присмотру добрых соседей, сама уходила далеко-далеко: до Антверпена. Она бродила по берегам Шельды и всё искала на барках и по пыльным дорогам, не встретит ли где своего милого друга, Уленшпигеля.

А тот как-то в Гамбурге на рынке среди купцов увидел несколько старых евреев, которые промышляли тем, что давали деньги в рост и торговали старьём.

Уленшпигель тоже захотел заняться торговлей: увидев на земле куски лошадиного навоза, собрал, отнёс на свою квартиру – он ютился в закоулках городского вала – и высушил. Потом он купил шёлка, красного и зелёного, сшил из него мешочки, насыпал навоза, завязал ленточкой – точно они наполнены мускусом.

Сколотив из нескольких дощечек лоток, он повесил его старой бечёвкой на шее, сложил туда товар и вышел на рынок продавать душистые подушечки. Вечером он освещал свой товар свечкой, прикреплённой посреди лотка.

На вопрос, чем он торгует, он таинственно ответил:

– Скажу вам, только потихоньку.

– Ну? – спрашивали покупатели.

– Это гадальные зёрна, – по ним узнают будущее, они доставлены во Фландрию прямо из Аравии, где их изготавливает великий искусник Абдул-Медил, потомок великого Магомета.

Собрались покупатели и говорили:

– Это турок.

– Нет, это фламандский богомолец, – не слышите разве по его выговору?

Подходили оборванцы к Уленшпигелю и говорили:

– Дай нам этих гадальных зёрен.

– По флорину штука, – отвечал Уленшпигель.

И беднота, грязная и ободранная, печально расходилась со словами:

– Только богатым житьё на этом свете.

Слух о гадальных зёрнах распространился по всему рынку. И обыватели говорили друг другу:

– Тут явился один фламандец с гадальными зёрнами, освящёнными в Иерусалиме на гробе Христа-спасителя. Но, говорят, он их не продаёт.

И люди собирались вокруг Уленшпигеля и просили его продать им гадальные зёрна.

Но он хотел поднять на них цену и отвечал, что они не созрели, и всё посматривал на двух богатых евреев, ходивших по рынку.

– Я хотел бы знать, – спросил у него один купец, – что будет с моим кораблём, который теперь в море?

– Он подыметсЯ до небес, если волны будут достаточно высоки, – отвечал Уленшпигель.

Другой, указав на свою хорошенькую дочку, которая при этом покрылась румянцем, спросил:

– Она, конечно, найдёт своё счастье?

– Всякий находит своё счастье там, где прикажет его природа, – ответил Уленшпигель, ибо он видел, что девушка сунула ключ какому-то молодому человеку.

Последний, сияя самодовольством, подошёл к Уленшпигелю:

– Господин купец, позвольте и мне один волшебный мешочек; я хочу узнать, один ли я буду спать эту ночь.

– Говорится так, – отвечал Уленшпигель: – кто сеет рожь соблазна, пожнёт плевелы рогиношения.

Молодой человек вскипел:

– На кого ты намекаешь?

– Зёрна говорят, что ты будешь счастлив в браке и жена не украсит тебя шлемом Вулкана.

Знаешь это украшение?

И Уленшпигель продолжал в тоне проповедника:

– Женщина, дающая до брака задаток, всем раздаёт потом свой товар даром.

Девушка, желая выказать свою предусмотрительность, спросила:

– И всё это видно в волшебных зёрнах?

– Там виден и ключ, – шепнул Уленшпигель ей на ухо.

Но молодой человек уже скрылся с ключом.

Вдруг Уленшпигель увидел, как воришка схватил со стойки длинную колбасу и спрятал её себе под плащ. Колбасник не заметил, и вор, очень довольный собой, подошёл к Уленшпигелю с вопросом:

– Что ты продаёшь тут, каркающий пророк?

– Мешочки, которые скажут тебе, что тебя повесят за чрезмерную любовь к колбасе, – ответил Уленшпигель.

Вор бросился бежать, а колбасник кричал:

– Ловите вора!

Но было уже поздно.

Всё это время богатые евреи внимательно слушали разговоры Уленшпигеля и, наконец, подошли:

– Что ты продаёшь, фламандец?

– Волшебные мешочки.

– А в чём их волшебство?

– Они предсказывают будущее, если пососать их.

Евреи пошептались между собой, и старший сказал:

– Ну, так посмотрим в мешочек, когда придёт наш мессия; это будет великим для нас утешением. Купим одну штуку. А что ты хочешь за мешочек?

– Пятьдесят флоринов, – отвечал Уленшпигель. – Если это для вас дорого, проваливайте. Кто не купил поля, тому и навоз ни к чему.

Видя по Уленшпигелю, что он не уступит, они уплатили ему, взяли один мешочек и побежали в свой квартал, где вокруг них собралась целая толпа евреев; те уж услышали, что один из двух стариков купил мешочек, предсказывающий день и час прихода мессии.

Всем хотелось бесплатно пососать мешочек. Но старик, по имени Иегу, купивший мешочек, объявил, что сам хочет пососать.

– Дети Израиля! – возгласил он, держа мешочек в руке. – Христиане издеваются над нами, гонят нас, преследуют позорными кличками. Филистимляне хотят пригнуть нас ниже земли. Они плюют нам в лицо, ибо бог ослабил тетиву наших луков. Долго ли, о бог Авраама, Исаака и Иакова, будет длиться это испытание, ниспосланное нам вместо блаженства, и скоро ли прольётся свет в эту тьму? Скоро ли снизойдёшь ты на землю, божественный мессия? Когда спрячутся христиане в пещеры и ямы из страха пред тобой и твоим грозным явлением в час, когда придёшь ты покарать их?

И евреи кричали:

– Приди, мессия! Соси, Иегу!

Иегу пососал, выблевал и жалостно возопил:

– Истинно вам говорю – это навоз, а фламандский богомолец – мошенник.

Тут евреи набросились на мешочек, разорвали, увидели, что в нём лежит, и в ярости бросились на рынок ловить Уленшпигеля. Но он не ждал их.

L

Один обыватель в Дамме не мог уплатить Клаасу за уголь и потому оставил ему в залог своё лучшее добро: арбалет с двенадцатью отлично выстроганными стрелами, чтобы уж бить без промаха.

В часы досуга Клаас постреливал; не один заяц был им загублен и обращен в жаркое за чрезмерное пристрастие к капусте.

Клаас ел в таких случаях с жадностью, но Сооткин смотрела на безлюдную толпу и говорила:

– Тиль, сын мой, вдыхаешь ли и ты запах подливки. Наверное, голодает где-нибудь. – И, погружённая в свои мысли, она готова была оставить для него вкусный кусочек.

– Если он голоден, – отвечал Клаас, – сам виноват; пусть вернётся, будет есть, как мы.

Клаас держал голубей. Кроме того, он любил щеглов, скворцов, коноплянок и прочих пискунов и визгунов, их щебетание и возню; и он охотно стрелял кобчиков и ястребов, истребляющих эту певчую братию.

Однажды, когда он во дворе отмеривал уголь, вдруг прибежала Сооткин, показывая ему большую птицу, кружащуюся над голубятней.

Клаас схватил арбалет со словами:

– Ну, пусть теперь чорт спасёт господина ястреба.

Он прицелился и следил за движениями птицы. Спускались сумерки, и Клаас мог различить в небе только тёмную точку. Наконец он выстрелил; во двор упал аист.

Это очень смутило Клааса, а Сооткин была огорчена и кричала ему:

– Злой человек, ты убил божью птицу.

Она подняла аиста, увидела, что тот ранен только в крыло, смазала и перевязала его рану и сказала:

– Милый аист, нехорошо, что ты, наш любимец, вздумал парить по поднебесью, точно ястреб, наш враг; так не одну стрелу выпустит народ в ложную цель. Болит у тебя крылышко, аист милый? Как терпеливо ты переносишь мои заботы. Видно, ты знаешь, что наши руки – руки друга.

Оправившись, аист ел, что ему хотелось; особенно любил он рыбу, которую Клаас ловил для него в канале. И всякий раз, когда аист видел его возвращение, он широко разевал свой клюв.

Аист бегал за Клаасом как собачонка, но ещё больше любил оставаться в кухне, грелся у огня и колотил Сооткин, хлопотавшую у печки, по животу, как бы спрашивая: «Нет ли чего для меня?»

И было так забавно видеть, как важно расхаживает по домику на своих длинных ногах этот вестник счастья.

LI

Но вновь вернулись тяжёлые дни; печально и одиноко работал Клаас в поле, ибо больше там не было работы. Сидя дома одна, Сооткин плакала, чтобы еда не опротивела мужу, придумывала разные приправы к бобам, которые приходилось есть изо дня в день. При муже она пела и смеялась, стараясь разогнать тоску, а аист стоял подле неё на одной ноге, уткнув голову под крыло.

Перед домом остановился всадник; он был в чёрной одежде, очень худой, а лицо его было печально.

– Есть кто-нибудь в доме? – спросил он.

– Бог да благословит вашу мрачную милость, – ответила Сооткин. – Что ж я, призрак, что ли, что вы, видя меня здесь, спрашиваете, есть ли кто в доме?

– Где твой отец? – спросил всадник.

– Если это моего отца зовут Клаасом, то он там, сеет хлеб; там и найдёшь его.

Всадник уехал. И Сооткин печально пошла за хлебом, чтобы в шестой уже раз взять у булочника в долг. Вернувшись с пустыми руками, она была изумлена, увидев, что Клаас едет с поля с победоносным, сияющим лицом на коне чёрного человека, а тот идёт с ним рядом и ведёт коня под уздцы. Клаас гордо прижимал рукой к бедру кожаную, видимо, туго набитую сумку.

Сойдя с коня, он обнял чёрного человека, похлопал его по плечу и, встряхнув сумку, воскликнул:

– Да здравствует мой брат Иост, добрый отшельник! Сохрани его господь в радости, в сытости, в весельи и здравьи! Иост благословенный, Иост щедрый, Иост сытно питающий! Аист не солгал.

И он положил сумку на стол.

На это Сооткин жалобно сказала:

– Муж, у нас сегодня есть нечего: булочник не дал в долг хлеба.

– Хлеба? – воскликнул Клаас, раскрывая сумку, из которой хлынуло на стол золото. – Хлеба? Вот тебе хлеб, вот масло, мясо, вино, пиво! Вот ветчина, мозговые кости, дрозды, каплуны, паштеты из цапли, лакомства, как у самых важных господ, вот бочка пива, вот бочонки вина! Где булочник, который нам откажет в хлебе? Болван! Ведь мы ничего не будем покупать у него.

– Но, милый, – сказала ошеломлённая Сооткин.

– Ну, слушай и радуйся, – продолжал Клаас: – Катлина не осталась в Антверпене ждать, пока кончится срок её изгнания. Неле перебралась с ней в Мейборг, весь путь они сделали пешком. Здесь Неле рассказала моему брату Иосту, что, несмотря на нашу тяжёлую работу, мы часто живём впроголодь. Как мне сообщил этот почтенный посланец, – и Клаас указал на чёрного всадника, – Иост выступил из святой римской церкви и предался лютерово́й ереси.

– Еретики – это те, которые служат Великой Блуднице, ибо папа римский – предатель и торгует святыней, – возразил человек в чёрном.

– Ах, господа, – воскликнула Сооткин, – не говорите так громко, а то из-за вас сожгут и нас всех.

– Итак, – продолжал Клаас, – Иост поручил этому почтенному посланцу передать нам, что вступает в войско Фридриха Саксонского⁷⁰, набрав и вооружив для него пятьдесят солдат.

⁷⁰ *Фридрих Саксонский* (Иоганн-Фридрих, курфюрст саксонский с 1532 по 1547 год) был главой союза протестантских князей и городов Германии, существовавшего с 1531 г. Карл V разбил войска союза 24 апреля 1547 г. и взял в плен Фридриха Саксонского (битва при Мюльберге).

Так как он идёт на войну, то ему не нужно много денег, которые, в случае неудачи, попадут только в руки какого-нибудь негодного ландскнехта. Поэтому он приказал: отвезти брату своему, Клаасу, эти семьсот червонцев вместе со своим благословением; передай ему, пусть живёт во благе и думает о спасении души.

– Да, – сказал посланный Иоста, – для этого настало время, ибо господь будет судить каждого и воздаст ему по делам его.

– Конечно, сударь, – сказал Клаас, – но пока что могу же я порадоваться доброй вести. Прошу вас побыть у меня; мы отпразднуем эту радость, поглотив великолепные потроха, жаркие, окорока, которые так заманчиво и привлекательно, – я проходя видел, – висели у мясника, что у меня от жадности зубы повылезли изо рта.

– Увы, – безумные, – сказал чёрный человек, – они предаются наслаждениям, между тем как око господне следит за их путями,

– Слушай, посланец, – сказал Клаас, – ты хочешь или не хочешь выпить и закусить с нами?

Посланец ответил:

– Когда падёт Вавилон⁷¹, тогда настанет для верных пора предаваться земным радостям.

Сооткин и Клаас при этом перекрестились, он же повернулся, чтоб ехать. Тогда Клаас сказал:

– Если уж ты непременно хочешь так нелюбезно расстаться с нами, то передай моему брату Иосту дружеский поцелуй и охраняй его в бою.

– Исполню, – ответил посланец.

И он уехал. Сооткин же отправилась за покупками, чтобы как следует отпраздновать их неожиданное счастье; и аист получил в этот день к ужину двух пескарей и тресковую голову.

Вскоре распространилась по Дамме весть, что бедный Клаас благодаря дару своего брата Иоста сделался богатым Клаасом, и священник выразил мнение, что это, конечно, Катлина околдовала Иоста. Ибо Клаас явно получил от него большие деньги, а между тем и юбчонки не пожертвовал для святой девы.

Клаас и Сооткин были счастливы; Клаас работал в поле или продавал уголь, а Сооткин хлопотала в доме по хозяйству.

Но глаза её попрежнему неустанно искали по дорогам её сына Уленшпигеля.

И все наслаждались счастьем, дарованным им от господа бога, и ждали, что дадут им люди.

⁷¹ Вавилон, по библейским свидетельствам, отличался большой распущенностью нравов.

III

Император Карл в этот день получил от своего сына из Англии письмо, которое гласило:

«Государь и отец мой!»

Мне неприятно жить в этой стране, где проклятые еретики кишат, точно блохи, черви и саранча. Меча и пламени недостаточно, чтобы очистить от их скверны ствол мощного древа животворящего, коим есть и пребудет наша мать, святая церковь. И словно мало для меня этой печали, – я должен ещё терпеть, что меня здесь не признают королём, но лишь мужем их королевы, не пользующимся никаким уважением. Они издеваются надо мной и в ядовитых пасквилях, составители которых так же неуловимы, как издатели, рассказывают, что папа римский подкупил меня, чтобы я безбожными виселицами и кострами довёл это королевство до смуты и конечной гибели. Когда мне бывает нужно провести спешный налог, – ибо часто они злоумышленно оставляют меня совсем без денег, – они насмешливо советуют мне в своих ядовитых листках обратиться к сатане, которому я служу. Господа из парламента, правда, извиняются и, из страха, что и я могу укусить их, пыжатыся, но денег не дают.

А стены лондонских домов покрыты позорящими меня пасквилями, где я изображён как отцеубийца, готовый покуситься на жизнь вашего величества, чтобы вступить на ваш престол.

Но вы сами, государь и отец мой, знаете, что, несмотря на законное честолюбие и гордость, я желаю вашему величеству долгого и славного царствования.

Они распространяют по городу преискусно вырезанную на меди гравюру, на которой изображено, как я заставляю кошек играть на клавесине. Кошки заперты в ящике, их хвосты торчат из круглых дырок, где они закреплены железными полосками. Человек – это я – прижигает им хвосты раскалённым железом, тогда они наступают на клавиши и яростно мяукают. Я нарисован в таком гнусном образе, что не в силах смотреть на себя. Да ещё изобразили меня смеющимся. Но вы знаете сами, государь мой и отец, предавался ли я когда-либо этому низкому удовольствию. Правда, я пытался найти развлечение в том, что заставлял иногда помяукать кошек, но я никогда не смеюсь. На их бунтовщическом языке они называют это «новый страшный клавесин» и говорят, что это преступление, но ведь у зверей нет души, и всякий человек, а тем более отпрыск королевского рода, в праве пользоваться ими для своего развлечения, хотя бы они и дошли от этого. Но здесь, в Англии, они так влюблены в скотов, что лучше обходятся с ними, чем с своими слугами. Конюшни и псарни здесь – настоящие дворцы, и есть дворяне, которые спят на одном ложе со своей лошадьёю.

Кроме того, королева, моя благородная супруга, бесплодна. С подлой наглостью утверждают они, что виноват в этом я, а не она, которая к тому же ревнива, вспыльчива и безгранично похотлива. Отец и государь мой, ежечасно молю я господа охранить меня и надеюсь на другой престол, хотя бы в Турции – в ожидании престола, на который призывает меня честь быть сыном вашего во веки веков преславного и победоносно сияющего величества».

Подписано: *«Фил»*.

Император ответил на это письмо:

«Господин и сын мой!»

Не спорю, враги ваши многочисленны, но постарайтесь не раздражаться чрезмерно в ожидании более высокой короны. Многим лицам я уже не раз выражал моё намерение отречься от престола нидерландского и других: ибо я стар и хвор – и знаю, что не могу противостоять

Генриху II⁷², королю французскому. Ибо фортуна за молодых людей. Поразмыслите и о том, что вы, будучи повелителем Англии, своим могуществом вредите Франции, нашему врагу.

Под Мецом я потерпел позорное поражение и потерял сорок тысяч человек. От саксонцев пришлось бежать. Если господь в божественном его попечении не вернёт мне одним разом мою былую силу и крепость, тогда, сын мой, я предполагаю отречься от моего королевского сана и передать его вам.

Вооружитесь посему терпением и до поры до времени исполняйте ваш долг по отношению к еретикам, не щадя никого, ни мужчин, ни женщин, ни девушек, ни детей, ибо я не без великого прискорбия уверился, что королева, супруга ваша, слишком часто оказывала им снисхождение.

Ваш любящий отец».

Подписано: «*Карл*».

⁷² *Генрих II* – сын Франциска I, король Франции с 1547 г. по 1559 г. Он продолжал политику отца, постоянной целью которого было ослабление могущества Испании. В 1552 г. Карл V потерпел поражение под крепостными стенами Меца и был вынужден снять осаду. После этого было заключено перемирие на пять лет, но Генрих II нарушил его, как только корона перешла от Карла к Филиппу II.

ЛИІІ

Долог был путь Уленшпигеля, и кровью начали сочиться его ноги. К счастью, в майнцском епископстве⁷³ он попал в повозку с богомольцами и в ней доехал до Рима.

Прибыв в город и сойдя с повозки, он увидел на пороге корчмы прехорошенькую бабёнку, которая на его взгляд ответила улыбкой.

Обнадёженный этим приветом, он обратился к ней:

– Хозяйка, не дашь ли приют богомольцу? Срок настал, и мне пора разрешиться... отпущением грехов.

– Мы даём приют всем, кто платит.

– Сто дукатов в моём кошельке, – ответил Уленшпигель (хотя у него был всего один), – и первый из них я истрачу с тобой за бутылкой старого римского вина.

– Вино не дорого в этой святой стране, – отвечала она, – войди, напѣешься и на один сольдо.

И они пили так долго и без труда опорожнили столько бутылок, что хозяйка вынуждена была поручить своей служанке подавать другим гостям. Сама она с Уленшпигелем удалилась в соседнюю комнатку, облицованную мрамором и прохладную, точно зимой.

Склонив голову на его плечо, она спрашивала, кто он такой.

Уленшпигель ответил:

– Я маркиз де Разгильдйя, граф Проходимский, барон Безгроша, на родине моей в Дамме мне принадлежит двадцать пять лунных поместий.

– Что же это за страна? – спросила хозяйка и выпила из бокала Уленшпигеля.

– Это страна, где сеют надежды, обещания и мечтания. Но ты, милая хозяйка с пахучей кожей и светящимися, точно жемчужины, глазами, ты родилась не при луне, ибо золотой отблеск этих волос – это цвет солнца, и никто, кроме Венеры, чуждой ревности, не мог создать эти полные плечи, эти пышные груди, эту круглую шею, эти маленькие ручки. Мы ужинаем сегодня вместе?

– Красивый богомолец из Фландрии, скажи, зачем ты приехал в Рим?

– Поговорить с папой, – ответил Уленшпигель.

– О! – воскликнула она, сложив руки. – Говорить с папой? Я здешняя и то не могла добиться этой милости.

– А я добьюсь, – отвечал Уленшпигель.

– Но разве ты знаешь, где он пребывает, какой он, какие у него привычки и требования?

– Мне по дороге рассказывали, что зовут его Юлий Третий⁷⁴, что живёт он весело и распутно, что он умелый и бойкий собеседник. Мне рассказывали, что он питает необычайную склонность к бродяжке, который где-то подошёл к нему с обезьянкой и, грязный, обтрѣпанный, неотёсанный, попросил милостыню. Взойдя на папский престол, Юлий сделал его кардиналом, ведающим денежными сборами, и теперь не может жить без него.

– Пей и не говори так громко.

– Слышал я ещё, что однажды вечером, когда ему не подали холодного павлина, которого он приказал оставить для себя, он бранился, как солдат: «A dispetto di Dio, potta sì Dio». И говорил при этом: «Я, наместник божий, могу ругаться из-за павлина – рассердился же мой повелитель на Адама из-за яблока!» Видишь, красавица, я знаю папу и знаю, каков он.

– Ах, только с другими не говори об этом. Всѣ-таки ты его не увидишь.

⁷³ *Майнцское епископство* – тогда духовное княжество на р. Рейн. Город Майнц – крупный торговый речной порт; складное место для прибывавших по Рейну нидерландских товаров.

⁷⁴ *Юлий III* вступил на папский престол шестидесяти пяти лет и был папой с 1550 по 1555 год.

- Я с ним буду говорить.
- Сто флоринов, если добьёшься,
- Я уже выиграл.

На другой день, несмотря на свою усталость, он всё ходил по городу и узнал, что сегодня папа будет служить обедню в соборе св. Иоанна Латеранского. Отправившись туда, Уленшпигель расположился как можно ближе к папе и на виду. Всякий раз, как папа воздымал святую чашу или святые дары, Уленшпигель поворачивался к алтарю спиной.

Рядом с папой стоял сослужащий кардинал, с смуглым, толстым и злым лицом, и, держа на плече обезьяну, давал народу причастие, делая при этом непристойные телодвижения. Он обратил внимание папы на поведение Уленшпигеля, и после обедни были посланы взять его четыре отличных солдата, какими славится эта воинственная страна.

- Какой ты веры? – спросил его папа.
- Ваше святейшество, – ответил Уленшпигель, – я той самой веры, что и моя хозяйка. Привели хозяйку.
- Какой ты веры? – спросил её папа.
- Той самой, что и ваше святейшество, – ответила она.
- Я тоже, – сказал Уленшпигель.

Тогда папа спросил его, почему же он отворачивается от святых даров.

- Я считал, что недостойн смотреть на них.
- Ты богомолец?
- Я пришёл из Фландрии вымолить отпущение моих грехов.

Папа благословил его. Уленшпигель удалился со своей хозяйкой, и она отсчитала ему сто флоринов. С этим приятным грузом он покинул Рим, чтобы возвратиться на родину.

Но за пергаментное свидетельство об отпущении грехов ему пришлось уплатить семь дукатов.

LIV

Два монаха ордена премонстрантов⁷⁵ прибыли в это время в Дамме продавать индульгенции⁷⁶. Поверх их монашеских одеяний были надеты кружевные рубахи.

В хорошую погоду они торговали на паперти собора, в дождевую – в притворе, где была прибита табличка с расценкой грехов. Они продавали отпущение грехов за шесть лиаров, за патар, за пол парижского ливра, за семь, за двенадцать флоринов, за дукат, – на сто, двести, триста, четыреста лет, а равно, смотря по цене, также полное загробное блаженство или половину его и разрешение самых страшных преступлений, включая вожеление к пресвятой деве. Но это стоило целых семнадцать флоринов.

Уплатившим сполна покупателям они вручали кусочки пергамента, на которых указано было число оплаченных лет. Внизу можно было прочесть следующую надпись:

Коль не хочешь, чтоб тысячу лет
В чистилище тебя припекали,
А потом в аду, на вечном огне,
Печь, варить и поджаривать стали —
Купи индульгенцию! —
Грехов отпущенье,
Милость божию и прощенье
По сходной цене продаём.
Помни о спасеньи своём!

И покупатели стекались за десять миль отовсюду.

Один из монахов часто читал народу проповеди. У него была цветущая рожа, тройной подбородок и порядочное брюшко, нимало не смущавшее его.

– Нечестивец! – говорил он, вперея взор в кого-либо из своих слушателей. – Нечестивец! Взгляни – вот ты в адском огне! Жестокое жжёт тебя пламя. Тебя кипятят в котле кипящего масла, в котором жарят пироги Астарты. Ты – колбаса на сковороде Люцифера⁷⁷, ты огузок в кастрюле Гильгерота, великого дьявола; и на мелкие кусочки для того ты изрублен. Взгляни на этого великого грешника, не подумавшего об отпущении грехов, взгляни на эту кастрюлю рубленого мяса; это он, это он, это его безбожное тело, это его проклятое тело так разделано. А приправа к нему? Приправа – сера, дёготь и смола! И все несчастные грешники будут вечно пожираемы, но так, чтобы непрестанно вновь воскресать к новым мучениям. Вот где льются неподдельные слёзы, вот где подлинно скрежещут зубы! Господи помилуй, господи помилуй! Да, вижу, вижу тебя в аду, бедный грешник, вижу твои мучения! Один лишь грош, уплаченный за тебя, – и уже легче твоей правой руке; ещё полушка – обе твои руки освободились из пламени. А остальное тело? Флорин всего – и низверглось на тебя благодатной росой отпущение грехов. О сладостная прохлада! И так – десять дней, сто дней, тысяча лет, смотря по взносу: ты уже не рубленое мясо, не жаркое, не оладья, кипящая в масле. И если не для тебя это, грешник,

⁷⁵ Орден премонстрантов, или белых каноников (норбертинцы), был основан монархом Норбертом около 1120 г., когда Норберт стал собирать своих учеников на лугу, будто бы предуказанном ему с небес, откуда и название ордена (*pré montré*, по-французски, означает «предуказанный луг» – *pratum monstratum*, лат.) Премонстранты ходили в белых одеяниях.

⁷⁶ Индульгенции – продаваемые церковью за деньги свидетельства об отпущении грехов. Протестанты нападали на этот бесстыдный способ вымогательства денег у верующих. Они, например, указывали, что папа Лев X продажей индульгенций покрывал расходы на свою порочную жизнь.

⁷⁷ Люцифер – одно из имён сатаны, означающее, по-латыни, «Светоносец» – так называли (в христианской мифологии) ангела, отпавшего от бога и ставшего дьяволом.

то разве мало в сокровенных глубинах этого пламени других страждущих душ: твоих родных, твоей любимой жены, какой-нибудь милой красотки, с которой ты так сладостно грешил?

При этих словах монах толкнул в бок своего товарища, стоявшего подле него с серебряным блюдом. Тот опустил глаза и благоговейно потряс блюдом, призывая к жертвованиям.

– И разве, – продолжал монах, – разве в этом страшном пламени нет у тебя сына, дочери, любимого ребёнка? Они кричат, плачут, они взывают к тебе! Неужто ты глух к этим жалостным стенаниям? Нет, невозможно. Твоё ледяное сердце тает, – и это стоит тебе грош. И посмотри: при звуках этого гроша, падающего на эту жалкую медь (здесь монах вновь потряс своим блюдом), ты видишь вдруг просвет в пламени: одна бедная душа поднялась из жерла вулкана. И вот она на свободе, она на чистом воздухе! Где её муки? Холодное море перед нею, она бросилась в него, она барахтается в нём, плавает на спине, переворачивается на волнах, ныряет. Слышишь, – она издаёт радостные крики, видишь – она кувыркается в воде. Ангелы глядят на неё и ликуют. Они ждут её, но она не может оторваться от своего наслаждения. Ей хотелось бы стать рыбой! Она не знает, что там наверху её ждут прохладительные водоёмы, полные душистой, сладостной, нежной влаги, в которой – точно холодные льдины – плавают громадные горы из белого леденца. Вот подплыла акула, но душа не боится её, она садится чудовищу на спину, и оно не чувствует этого. Она ныряет с ним в глубь морскую, она приветствует морских ангелов, которые едят *waterzoeu* из коралловых чаш и свежих устриц на перламутровых тарелках. И как встречают её здесь, каким уходом, приветом и вниманием она окружена! Ангелы сверху всё зовут её с небес. И вот, наконец, возрождённая, блаженная, она воздымается в небеса, звеня жаворонком, взлетает туда ввысь, где во всём великолепии восседает на престоле господь бог. Там находит она всех своих земных родных и друзей, кроме тех, которые не купили своевременно индульгенции, презрели отпущение грехов, даруемое святой нашей матерью – католической церковью, и жарятся в недрах адовых. И так вечно, впредь во веки веков в огне непреходящих страданий. А прощённая душа – та в чертогах господних наслаждается благоуханной влагой и сладостью леденца.

– Покупайте индульгенции, братья; есть на всякие цены: за крузат, за червонец, за английский соверен. Принимаем и мелкие деньги. Покупайте. Покупайте. Здесь священная торговля: здесь есть товары для всякого – для бедного и богатого. Но в долг, братья, к великому горю, мы давать не можем, ибо покупать прощение и не платить за него наличными – преступление в глазах создателя.

Монах, собиравший деньги, молча потрясал блюдом. Флорины, крузаты, патары, дукатоны, денье и су⁷⁸ сыпались в него градом.

Клаас, считая себя богачом, уплатил флорин, получив за него отпущение на десять тысяч лет. В подтверждение монахи выдали ему кусок пергамента.

Вскоре они увидели, что не купивших себе индульгенции осталось в Дамме всего несколько закоренелых скупцов. Тогда оба перебрались в Гейст.

⁷⁸ *Флорины, крузаты, дукатоны, соверены, экио* – золотые монеты разных стран, имевшие тогда хождение по всей Европе; *патары, су и денье* – мелкая разменная монета, как и *сольдо*, упомянутый в предшествующей главе.

LV

В хламиде богомольца и с отпущением грехов в суме покинул Уленшпигель Рим. Бодро шёл он вперёд и так пришёл в Вамберг, который славился лучшими овощами в мире.

В трактире, куда он направился, его встретила приветливая хозяйка со словами:

– Молодой мастер, хочешь поесть за деньги?

– Конечно, – ответил Уленшпигель, – а за какие же деньги у вас едят.

– За шесть флоринов на господском столе, за четыре на купеческом, за два на общем.

– Чем дороже, тем лучше для меня, – отвечал Уленшпигель и сел за господский стол.

Наевшись досыта и запив еду рейнским, он обратился к хозяйке:

– Что ж, кума, я съел на шесть флоринов; плати, стало быть.

– Ты издеваешься, что ли, – ответила хозяйка, – плати за обед.

– Прелестная хозяйка, – возразил Уленшпигель, – не видно по вашему лицу, чтобы вы были неисправным должником, нет, наоборот, я вижу, что честность ваша так велика, любовь к ближнему так необъятна, что вы готовы заплатить мне восемнадцать флоринов, не то что шесть, которые должны мне за еду. Достаточно взглянуть на эти прекрасные глаза: солнечные лучи стремятся из них на меня, точно стрелы, и под их светом любовные шалости возрастают пышнее, чем бурьян в пустыне.

– Знать не хочу никаких твоих шалостей и бурьянов – плати деньги и уходи.

– Что! Уйти – и тебя не видеть? Лучше издохнуть на месте! Хозяйка, красотка, я не привык обедать за шесть флоринов, я бедный бродяжка, пешком пришедший через горы и доли. Я нажрался досыта, так что вот-вот высуну язык, как сытый пёс; заплатите же мне за тяжкие труды моих челюстей; я заработал мои шесть флоринов. Позвольте получить, – и я так нежно обниму и поцелую вас, как и двадцать семь любовников обнять не могут.

– Да ты всё это говоришь из-за денег?

– А ты хочешь, чтоб я тебя даром съел?

– Нет, – говорила она, отталкивая его.

– Ах, – вздохнул он, следуя за нею, – твоя кожа, точно сливки, твои волосы, точно золотистый фазан на вертеле, твои губы, точно вишни. Есть ли кто на свете вкуснее тебя?

– Негодяй, – говорила она смеясь, – ты ещё денег требуешь, скажи спасибо, что поел даром.

– Ах, – ответил он, – если бы ты знала, сколько у меня там ещё пустого места.

– Убирайся, пока муж не пришёл.

– Я не буду суровым кредитором, – ответил Уленшпигель. – Дай пока хоть один флорин залить жажду.

– Возьми, каналья, – ответила она.

– Можно ещё прийти?

– Уходи с богом!

– С богом, значит, к тебе, голубка, ибо уйти и не видеть больше тебя, это безбожно. Если бы ты позволила мне остаться, я бы тебя каждый день съедал по меньшей мере на флорин.

– Ой, возьму палку! – крикнула она.

– Возьми мою, – ответил Уленшпигель.

Она захохотала, но ему пришлось уйти.

LVI

Ламме Гудзак переселился обратно в Дамме, так как в Льеже стало беспокойно из-за еретиков. Его жена была рада этому, потому что льежцы искони известны как злые насмешники и трунили над добродушием её мужа.

Ламме часто заходил к Клаасу, который, с тех пор как стал богатым наследником, охотно проводил время в трактире *Blauwe-Torre*, где всегда был готовый стол для него и для его собутельников. За соседним столом обычно помещался Иост Грейпстювер, скаредный старшина рыбных торговцев; скупой и мелочный, он выпивал не больше полукружки, питался одной солёной селёдкой и думал о своих грошах больше, чем о спасении своей души. А у Клааса в кошельке лежал листочек пергамента, на котором значилось десять тысяч лет отпущения грехов.

Сидели они как-то в трактире – Клаас, и Ламме, и Ян ван Роозебеке, и Матейс ван Асхе; пришёл и Иост Грейпстювер. По сему случаю Клаас пил кружку за кружкой, и Ян Роозебеке заметил ему:

– Эта кружка уж лишняя! Грех!

– За одну лишнюю кружку, – ответил Клаас, – полагается гореть в аду всего полдня, а у меня в кошельке отпущение на десять тысяч лет. Кто желает получить из них сотню, пей без счёта, пока не лопнешь.

– А почём продаёшь? – кричали приятели.

– За кружку пива, – ответил Клаас, – а за ломоть солонины отдам полтора ста!

Одни из собутельников поднесли Клаасу по кружке пива, другие по ломтику ветчины – и он для них всех отрезал узенькую полоску пергамента. Конечно, Клаас не один потребил всю эту плату натурой: ему помогал Ламме Гудзак, который так набил брюхо, что просто на глазах распух, а Клаас всё расхаживал по трактиру, предлагая всем свой товар.

– И десять дней продашь? – спросил рыбник, обращая к нему своё кислое лицо.

– Нет, – ответил Клаас, – такой кусочек трудно отрезать.

Все расхохотались, а рыбнику пришлось проглотить пилюлю.

И Ламме с Клаасом направились домой, но шли они медленно, точно ноги у них были из пакли.

LVII

К концу третьего года своего изгнания Катлина вернулась в свой дом в Дамме; безустали твердила она: «Горит голова, стучит душа, пробейте дыру, выпустите душу». И, увидя стадо коров или овец, убегала стремглав. Сидит, бывало, на скамеечке под липой за домом, трясёт головой и смотрит на проходящих, не узнавая их. Жители Дамме говорили:

– Вон сидит дурочка.

А Уленшпигель бродил по городам и весям. Как-то на большой дороге, видит он, стоит осёл в роскошной упряжи с медным набором; голова вся убрана кисточками и подвесками из красной шерсти.

Вокруг осла несколько старых баб, все одновременно говорят, перебивая друг друга.

– Не трогайте его, не трогайте, страшно ведь, не подходите. Это заклятый осёл страшного колдуна барона де Рэ⁷⁹, которого сожгли живьём за то, что он восьмерых своих детей обрёк сатане. А осёл бежал так быстро, что его нельзя было поймать – сам дьявол его охранял. Потому что, видишь ли, кумушка, когда он выбился из сил и стал на дороге и стражники подошли к нему, чтобы схватить, он стал биться и выть так, что все разбежались... И не ослиный это крик был, а прямо чортов вой – вот и оставили его щипать колючки, вместо того чтобы представить на суд и тоже сжечь за колдовство... Труссы эти мужчины.

Несмотря на такие храбрые разговоры, бабы с криком разбежались, как только осёл поднимал кончик ушей или хлопал себя хвостом по бёдрам. Потом они вновь собирались, и кричали, и стрекотали, и при каждом движении осла повторялась та же сцена.

Уленшпигель смотрел на них некоторое время.

«Что за бесконечное любопытство, – размышлял он, – что за неустанная болтовня брызжет из бабьего рта, точно поток, особенно у старых: у молодых она всё-таки прерывается любовной работой...»

И, взглянув на ослика, он подумал:

«А ведь этот колдун – добрая рабочая скотинка, и рысь у него, верно, не тряская. Можно разьезжать на нём, а то продать».

Не сказав ни слова, он отошёл в сторону, сорвал пучок овса и дал ослу, потом разом вскочил на него, схватил повод и поскакал, посылая рукой благословения изумлённым бабам. Те от ужаса чуть не попадали в обморок и бухнули на колени.

Вечером того же дня обыватели рассказывали друг другу, как спустился с небес ангел в войлочной шляпе с фазаньим пером, как он благословил всех и, по особой милости божьей, унёс с собой заклятого осла.

А Уленшпигель ехал дальше по тучным лугам, где прыгали на свободе жеребята, где коровы с телятами лениво паслись, лёжа на солнце. И он дал ослу имя: Иеф.

Осёл остановился, наслаждаясь чертополохом. Иногда только он вздрагивал всем телом и колотил по бёдрам хвостом, отгоняя жадных оводов, которые, подобно ему, тоже хотели пообедать, – но его собственным мясом.

Желудок Уленшпигеля вопиял от голода, и он скорбно размышлял:

«Как счастлив был бы ты, серый, если бы никто не мешал тебе наслаждаться колючками и не являлся напомнить, что ты смертен, то есть рождён, чтобы терпеть всякие пакости. И у носителя священной папской туфли есть свой овод – это господин Лютер. – При этом Уленшпигель

⁷⁹ *Барон де Рэ* (Жиль де Лаваль, барон де Рэ; по-французски Rays или Retz) родился в 1396 г., отличился при Карле VII в битвах с англичанами и впоследствии получил маршальский жезл. Разорившись, он поселился в своём замке в окрестностях г. Нанта, где предавался в течение 14 лет ужасающему распутству. В 1440 г. он был сожжён на костре. Обвинение утверждало, что за годы жизни в замке он заманил несколько сот мальчиков, которые стали жертвами его садизма. Народное предание связало его подлинную историю с известной легендой о Синей Бороде и сделало барона де Рэ чернокнижником и колдуном.

сдавил осла коленями. – И у его величества, – продолжал он, – у императора Карла тоже есть овод – это благородный Франциск Первый, король французский⁸⁰, с его очень длинным носом и ещё более длинным мечом. Вот и мне, бедняге, блуждающему, точно вечный жид⁸¹, тоже выпал на долю мой овод. Так-то, любезнейший серячок! Ах, дырявы все мои карманы, и из их дырок выкатились все мои дукаты, флорины и талеры, точно стая мышей, разбежавшаяся перед кошкой. Просто не знаю, что деньги имеют против меня, который их так любит. Нет, фортуна, наверное, не женщина, – она любит только скупердяев, которые всё копят и под замок прячут и денежки берегут, не позволяя им даже кончик золотого носика высунуть наружу: вот он, мой овод, который вечно и жалит, и колет, и щекочет меня, однако, мне не смешно нисколько. Да ты не слушаешь, серячок: всё думаешь, как бы ещё попастьись; ах ты, брюхан, набивающий своё брюхо, твои длинные уши глухи к воплям пустого желудка. Да слушай же, каналья!»

И пребольно стегнул его. Осёл заревел.

– Ну, поел, теперь в путь!

Но осёл был неподвижен, как пограничный столб, и, видимо, намеревался съесть все придорожные колючки. А их было не мало.

Увидев это, Уленшпигель сошёл с осла, нарезал охапку чертополоха, вскочил на седло и протянул колючки перед его мордой, так что осёл потянулся за ними. И так они ехали до земли ландграфа Гессенского⁸².

– Ах, серый, – сказал Уленшпигель, – вот ты бежишь за моей охапкой колючек, не получая их, а позади себя оставил прекрасную дорогу, обросшую этим лакомством. Ведь так и люди поступают. Одни гонятся за лаврами, которые проносит судьба мимо их носа, другие – за растущим барышом, третьи – за цветами любви. В конце пути они, как ты, видят, что гнались за пустяком, оставив позади всё важное – здоровье, труд, покой, домашний уют.

Так, болтая со своим ослом, Уленшпигель подъехал к замку ландграфа.

На ступеньках подъезда два стрелка-офицера играли в кости.

Один из них, рыжий великан, заметил Уленшпигеля, который, подъехав на Иефе, почтительно остановился и смотрел на них.

– Чего тебе, голодный святоша? – сказал офицер.

– А ведь и правда, – сказал Уленшпигель, – и голоден я и богомольствую не по своей воле.

– Ты голоден? Так накорми свою шею верёвкой: вот она висит на виселице, приготовленной для бродяг.

– Господин капитан, – ответил Уленшпигель, – если вы мне дадите золотой шнурок с вашей шляпы, то я, пожалуй, повешусь... вцепившись зубами в ветчину, что вот там висит у колбасника.

– Откуда ты? – спросил стрелок.

– Из Фландрии.

– Чего тебе надо?

– Я хочу представить его высочеству господину ландграфу картину моей работы.

– Если ты живописец и из Фландрии, то войди: я отведу тебя к графу.

Представ пред ландграфом, Уленшпигель отвесил троекратный и даже многократный поклон.

⁸⁰ «...у императора Карла тоже есть овод – это благородный Франциск I, король французский». Уместнее сказать «был», так как на стр. 117 упоминалось имя нового короля Генриха II, сына Франциска. Притом уже рассказано о браке Филиппа с Марией Тюдор, состоявшемся в 1554 г., тогда как Франциск умер в 1547 г.

⁸¹ *Вечный жид*; по древнехристианскому преданию, еврей Агасфер оскорбил Иисуса Христа, шедшего на крестные муки, и за это бог осудил его на вечные скитания по земле.

⁸² *Ландграфом Гессенским* в ту пору мог быть только Филипп Гессенский, правивший с 1518 по 1567 г. Он был деятельным сторонником протестантизма и вместе с курфюрстом Саксонским возглавлял шмалькальденский союз протестантских князей и вёл войну против императора Карла V и всей германской католической партии. Ландграф – титул, близкий к герцогскому; так, ландграфство гессенское разделилось потом на два герцогства: Гессен-Кассель и Гессен-Дармштадт.

– Прошу прощения у вашего высочества за мою смелость, – начал он, – осмеливаюсь повергнуть к благородным стопам вашим написанную для вас картину. Я имел честь изобразить на ней пресвятую богородицу во всём её царственном величии. Быть может, картина эта понравится вашему высочеству, и в этом случае, – продолжал он, – я не удержусь от преувеличенного мнения о моём искусстве и позволю себе надеяться, что когда-либо и я получу возможность занять это красное бархатное кресло, в котором при жизни сидел достойный сожаления художник вашего Великодушия.

Ландграф обозрел картину и, найдя её прекрасной, произнёс:

– Ты будешь нашим живописцем, сядь в то кресло.

При этом он весело поцеловал его в обе щеки. Уленшпигель уселся.

– Ты отощал, – сказал граф, глядя на него.

– Да, ваше высочество, – ответил Уленшпигель, – Иеф (это мой осёл) пообедал колючками, а я вот уже три дня лицезрел только голод и питался исключительно дымом надежды.

– Сейчас получишь более питательную говядину, – ответил ландграф. – Но где твой осёл?

– Я оставил его на площади, – отвечал Уленшпигель, – пред дворцом вашей милости. Я буду счастлив, если и Иеф получит на ночь пристанище, подстилку и корм!

И ландграф тотчас приказал одному из пажей содержать осла Уленшпигеля так же, как его собственных ослов.

Подошло время ужина, который был роскошен, как торжественное пиршество. Дымящееся мясо и ароматное вино катилось вниз по глоткам.

Уленшпигель и ландграф были оба красны, как раскалённые жаровни. Уленшпигель был весел, граф задумчив.

– Послушай, художник, – вдруг сказал он, – мне нужен мой портрет: утешительно ведь для смертного государя оставить потомству воспоминание о своём образе.

– Ваше высочество, ваша воля – закон, но недостойному рабу вашему представляется, что вашей милости не так будет приятно быть представленным грядущим столетиям в одиночестве. Вам следует красоваться на картине в сопровождении госпожи ландграфини, вашей благородной супруги, с её дамами и кавалерами, с военачальниками и храбрейшими офицерами. И среди всего этого блеска – точно два солнца среди фонарей – ваша милость с супругой.

– Правильно, господин живописец, – сказал ландграф, – а что будет стоить эта великая работа?

– Сто флоринов вперёд или потом.

– Возьми вперёд, – ответил ландграф.

– Ваша милость! – воскликнул Уленшпигель. – Вы наливаете масло в мою лампу, и она будет гореть в вашу честь.

На другой день он попросил графа представить ему всех тех, кто удостоится изображения на картине.

Первым был герцог Люнебургский, командовавший графскими наемниками. Это был громадный мужчина, с трудом влачивший своё сытое брюхо. Приблизившись к Уленшпигелю, он шепнул ему на ухо:

– Если ты на своей картине не снимешь с меня половину жира, мои солдаты повесят тебя.

И герцог вышел.

Затем явилась высокая дама с горбом на спине и грудью плоской, как меч правосудия.

– Господин художник, – сказала она, – если ты на картине не уберёшь мне выпуклость со спины и не поместишь зато пару выпуклостей на груди, ты будешь четвертован как отравитель.

И дама вышла.

Следующая была молоденькая, хорошенькая, свеженькая, изящная фрейлина, у которой не доставало впереди трёх верхних зубов.

– Господин художник, – сказала она, – если ты не нарисуешь меня с улыбкой, открывающей все тридцать два зуба, то вот этот мой поклонник изрубит тебя на куски.

И она показала на капитана стрелков, того самого, который давеча играл в кости на ступенях подъезда, и вышла.

И так один за другим. Наконец Уленшпигель остался вдвоём с ландграфом.

– Если ты себе на горе вздумаешь лукавить, – сказал ландграф, – и нарисовать хоть чёрточку в чьём-нибудь лице не так, как есть, я прикажу отрубить тебе голову, как цыплёнку.

«Плаха или колесо, топор или по меньшей мере виселица, – подумал Уленшпигель, – тогда лучше никого не рисовать. Ну, посмотрим».

– Где зал, который я должен украсить всей этой живописью? – спросил он ландграфа.

– Пойдём, – ответил тот.

И он привёл его в огромную комнату с необъятными голыми стенами.

– Вот, – сказал он.

– Было бы хорошо, – сказал Уленшпигель, – чтобы все стены были завешены большими занавесами, дабы предохранить мою работу от мух и пыли.

– Хорошо, – сказал граф.

Занавесы были повешены. Уленшпигель потребовал трех помощников: растирать краски, сказал он.

В течение тридцати дней Уленшпигель и его помощники занимались жраньём и выпивкой. Сам ландграф заботился о том, чтоб им доставлялись лучшие яства и вина.

Но на тридцать первый день он просунул нос в дверную щёлку: Уленшпигель строго запретил кому бы то ни было входить в комнату.

– Ну, Тиль, как картина?

– Ещё далеко до конца.

– Можно посмотреть?

– Нет ещё.

На тридцать шестой день ландграф опять просунул нос в щёлку:

– Ну, Тиль?

– Кончаем, господин ландграф.

На шестидесятый день ландграф рассердился и влетел в зал с криком:

– Покажешь ты мне, наконец, картину, нахал?

– Сейчас, сейчас, господин грозный государь, благоволите только разрешить не поднимать завесу, пока не сойдутся все придворные дамы и кавалеры.

– Хорошо.

И по приказу государя все собрались в зале.

Уленшпигель стал перед опущенной завесой и сказал:

– Господин ландграф и вы, госпожа ландграфиня, и вы, господин герцог Люнебургский, и прочие прекрасные дамы и доблестные кавалеры: здесь, за занавесью, на картине я изобразил ваши прелестные или мужественные лица. Каждый из вас легко узнает своё изображение. Вам хочется скорее взглянуть на себя, и это нетерпение вполне понятно. Но благоволите потерпеть ещё немного и выслушать одно словечко или с полдюжины таковых. Прекрасные дамы, доблестные воители, вы все, у кого в жилах течёт благороднейшая дворянская кровь, увидите мою картину, но если бы кто-нибудь в вашей среде оказался низкого происхождения, он не увидит ничего, кроме белой стены. Благоволите раскрыть ваши благородные глаза.

Уленшпигель открыл завесу и продолжал:

– Лишь высокородённые, лишь дамы и кавалеры благородной крови могут видеть картину. Отныне все будут говорить: он слеп к живописи, как мужик, или он понимает в картинах – вот подлинный дворянин.

Все смотрели в упор, все притворялись, что прекрасно видят, показывали друг другу на свои портреты, узнавали, обсуждали их. На самом деле они видели только голые стены и были очень удручены этим.

Вдруг шут, бывший при этом, подпрыгнул на три фута вверх, загремел бубенчиками и закричал:

– Пусть я буду самый низкий, униженный мужичонко, но я буду в трубы трубить и бараны бить, провозглашая одно: «Ничего здесь не вижу, кроме голых, белых, пустых, гладких стен! Так да поможет мне господь бог и все святые!»

– Там, где появляются дураки, умным людям надо уходить, – сказал Уленшпигель.

Он уже выходил из замка, когда его удержал сам ландграф.

– Дурачок, дурачок, – сказал он, – бродишь ты по свету, восхваляешь во всю глотку прекрасное, издеваешься над глупостью. Пред такими важными дамами и ещё более знатными вельможами ты, по народному обычаю, решился посмеяться над дворянским чванством и высокомерием: повесят тебя когда-нибудь за твой длинный язык.

– Если верёвка будет золотая, – ответил Уленшпигель, – то при одном моём взгляде она рассыплется в куски от страха.

– Вот тебе первый кусок, – ответил ландграф, протягивая ему пятнадцать флоринов.

– Благодарю от души вашу милость, – сказал Уленшпигель, – каждый трактир по дороге получит по ниточке, – по ниточке чистого золота, которая сделает всех этих каналов-трактирщиков крезами.

И, гордо заломив набекрень шляпчонку с торчащим пером, он весело вскочил на своего осла и умчался.

LVIII

Листья желтели на деревьях, и порою проносился осенний ветер. Случалось, что час-другой Катлина была совсем в добром разуме. И Клаас говорил тогда, что это дух божий, в благостном милосердии, навещает её. В такое время она чародейством слов и движений заставляла Неле видеть за сотни миль то, что происходило на площадях, на улицах и даже в домах.

И в этот день Катлина была в ясном уме и вместе с Классом, Сооткин и Неле ела олады, обильно политые пивом.

– Сегодня отрекается от престола его величество император Карл Пятый⁸³, – сказал Клаас. – Неле, милая, не могла ли бы ты увидеть, что делается теперь в Брюсселе?

– Увижу, если Катлина захочет, – отвечала Неле.

Катлина приказала ей сесть на скамью и, словами и движениями, действовавшими, как волшебство, заставила Неле тихо погрузиться в глубокий сон.

– Войди, – приказала ей Катлина, – в маленький домик в парке, здесь любит пребывать император Карл Пятый.

– Вот я в маленьком зелёном зале, – говорила Неле тихо и как бы задыхаясь; – здесь сидит человек, ему около пятидесяти четырёх лет, седой, лысый, с русой бородкой и сильно выдающимся подбородком. Взгляд его серых глаз исполнен хитрости, жестокости и притворного добродушия. Этого человека называют «его святейшим величеством». Он простужен и кашляет. Подле него стоит другой человек, молодой, большеголовый, уродливый, как обезьяна, я видела его в Антверпене, – это король Филипп. Его величество бранит его за то, что он последнюю ночь провёл вне дома. «И всё затем, – говорит он, – чтобы в каком-нибудь жалком вертеле найти грязную потаскуху». Он говорит сыну, что от волос его несёт кабаком, что его удовольствия недостойны короля, что к его услугам нежные тела, атласная кожа которых омыта в благоуханной ванне, и руки влюблённых знатных дам. А ему по вкусу какая-нибудь хавронья, которая, верно, ещё не отмылась от объятий пьяных наемников, только что покинутых ею. Нет девушки, нет мужней жены, нет вдовы, которая отказала бы ему: ни одной – даже самой прекрасной и знатной из тех, которые освещают свои любовные радости благоуханными светильниками, а не вонючими сальными свечами.

Король отвечает его величеству, что он будет повиноваться ему во всём.

Его величество кашляет и выпивает несколько глотков горячего вина.

«Теперь, – говорит он Филиппу, – ты увидишь генеральные штаты⁸⁴ – епископов, дворян и горожан: всегда молчаливого Вильгельма Оранского, тщеславного Эгмонта, мрачного Горна, отважного, как лев, Бредероде⁸⁵ и всех кавалеров Золотого руна⁸⁶, во главе которых я поставлю

⁸³ «Сегодня отрекается от престола его величество император Карл Пятый» – 25 октября 1555 г. В этот день перед лицом Генеральных штатов 28-летний Филипп принял власть над Нидерландами, а несколько позднее над Испанией и её владениями.

⁸⁴ Генеральные штаты – общий для всех семнадцати нидерландских провинций сословный сейм, состоявший из представителей провинциальных сеймов (штатов).

⁸⁵ Вильгельм Оранский (1533–1584) – сын графа Нассау. От отца он наследовал обширные земли в Нидерландах, от дяди – княжество Оранское, на юге Франции. Он стал богатейшим нидерландским вельможей, с годовым доходом в 150–200 тысяч флоринов, тогда как самый богатый после него, Эгмонт имел доход не более одной трети этой суммы. Официально он был наместником (штатгальтером) трёх провинций (Голландии, Зеландии и Утрехта) и членом государственного совета Нидерландов. Перед вторжением Альбы он удалился в г. Дилленбург, откуда вскоре завоевал Фрисландию. Не добившись успеха на суше, он организовал вместе с «морскими гёзами» флот, который стал грозной силой (1572). Позднее он сплотил в так наз. Утрехтскую унию семь отколовшихся от Испании провинций и этим актом положил начало республике соединённых провинций (1579). Граф Ламораль, Эгмонт (1522–1568) – принадлежал к старинной аристократии Нидерландов, где у него были богатейшие владения. В 1557 г. он сыграл выдающуюся роль в победе испано-фламандских войск при Сен-Кантене, а в следующем году он разбил французов при Гравелингене, определив этими двумя победами благоприятный для Филиппа II исход этой войны (1556–1558). Это не помешало Филиппу II казнить Эгмонта в 1568 г., хотя Эгмонт всячески подчёркивал свою верность королю, как своими жестокими расправами с реформатами, так и особой присягой – о «неограниченном пови-

тебя. Ты увидишь сотни суетных людей, которые дадут себе отрезать нос, чтобы носить его на золотой цепи на груди – как знак высшей знатности».

Потом он меняет тон и жалобно говорит королю Филиппу:

«Ты знаешь, сын мой, я отрекаюсь в твою пользу, я дам миру величавое зрелище и буду говорить перед толпой, хотя я кашляю и икаю, – это потому, что я слишком много ел всю жизнь, сын мой. Железное у тебя сердце должно быть, если ты после моей речи не прольёшь нескольких слезинок».

«Я буду плакать, батюшка», – отвечает король Филипп.

Теперь его величество говорит своему слуге, по имени Дюбуа:

«Накапай мне мадеры на кусочек сахара, Дюбуа: у меня икота. Хоть бы она не напала на меня, когда надо будет говорить перед людьми. Этот вчерашний гусь⁸⁷, должно быть, никак не пройдёт. Уж не выпить ли мне стакан орлеанского? Или лучше не надо – оно такое терпкое. Или сардинку съесть? Нет, жирно. Дюбуа, дай бургонского».

Дюбуа подаёт королю вино, потом одевает его в пурпурный бархат, накидывает ему на плечи парчовую мантию, опоясывает мечом, вкладывает ему в руки скипетр и державу и надевает на голову корону.

Его величество выходит из павильона, садится на маленького мула, за ним идут король Филипп и несколько придворных. Так направляются они к большому зданию – дворцу; здесь в одной из комнат они встречают высокого, стройного мужчину в богатой одежде; это – Оранский.

«Как ты меня находишь, кузен Вильгельм?» – спрашивает его величество.

Но тот не отвечает.

Его величество говорит не то сердито, не то в шутку:

«Что ты, онемел навеки, кузен? Даже тогда, когда надо сказать правду старым мощам? Царствовать мне или отречься? Скажи, Молчаливый».

«Ваше святейшее величество, – говорит высокий, – когда приходит зима, самый могучий дуб стряхивает с себя листья».

Бьёт три часа.

«Дай, Молчаливый, обопрись на твоё плечо».

И с ним и со своей свитой его величество вступает в большой зал и садится на помосте под балдахином, где всё вокруг покрыто шёлком и пурпурными коврами. Три трона устроены здесь: средний для его величества; он убран роскошнее, и над ним водружена императорская корона. Король Филипп сидит на другом троне; третий предназначен для женщины – для королевы⁸⁸. Слева и справа, на покрытых коврами скамьях, сидят господа в красном; у всех на шее висит золотой агнец. За ними стоит множество господ, всё, видно, князья и высокие особы. Напротив трона на скамьях, ничем не покрытых, сидят люди в суконных одеждах. Я

новении» Филиппу II (1567), дать которую отказались Вильгельм Оранский и Бредероде. *Горн* (Филипп Монмаранси-Нивель граф Горн, 1518–1568) – крупный нидерландский феодал, наместник двух провинций и адмирал Фландрии. Он был другом Эгмонта и его соратником в битвах при Сен-Кантене и Гравелингене. Горн разделил судьбу Эгмонта. *Бредероде, Генрих* (1531–1568) – видный нидерландский аристократ, принимавший участие в событиях, предшествовавших нидерландской революции. Перед прибытием Альбы в Нидерланды он укрепил свой замок Вивьен, неудачно защищал его и, спасшись бегством, вскоре после этого умер в Германии.

⁸⁶ *Золотое Руно* – рыцарский орден высшей нидерландской знати, к которому со времён императора Карла V могло принадлежать не более 52 человек. Учреждён в 1430 г. бургундским герцогом Филиппом Добрым. Орденский знак состоял из золотой цепи с фигуркой агнца, напоминавшего о смирении, подобающем рыцарям ордена, и о том, что шерсть – национальное богатство Нидерландов.

⁸⁷ «...этот вчерашний гусь...» По свидетельству историков, Карл V отличался болезненной прожорливостью и неводержанностью к напиткам, разрушившими его могучее здоровье. У Филиппа II было подчёркиваемое Костером пристрастие к сладкому.

⁸⁸ «...третий... для королевы». Речь идёт о Марии Австрийской, сестре Карла V, вдове короля Венгрии и Богемии Людовика II. Она была правительницей Нидерландов при Карле V, с 1531 до 1555 г., то есть до его отречения.

слышу, в этой толпе говорят, что они так скромно одеты, потому что все расходы падают на их счёт. При появлении его величества все встают. Император садится и знаком приказывает всем сделать то же.

Медленно и долго говорит один старик⁸⁹, потом дама, судя по виду – королева, подаёт его величеству пергаментный свиток, на котором написано много чего-то, и император, кашляя, читает это глухим, тихим голосом и потом говорит:

«Много странствовал я по Испании, по Италии, по Нидерландам, Англии и Африке, и все странствия эти были ко славе господу богу, к мощи нашего оружия, ко благу моих народов».

Потом он долго говорит ещё и объявляет, что он немощен и устал и вознамерился вручить сыну корону Испании, равно как все принадлежащие ей герцогства, графства и баронства.

И он плачет, и все плачут вместе с ним.

Король Филипп поднимается с места, бросается на колени и говорит:

«Ваше величество, как могу я осмелиться принять эту корону из ваших рук, когда вы ещё в силах носить её!»

Потом император шепчет сыну на ухо, чтобы он обратился с благосклонной речью к господам, сидящим на покрытых коврами скамьях.

Филипп, не поднимаясь, обращается к ним и говорит кислым тоном:

«Я знаю французский язык настолько, чтобы понимать его, но не настолько, чтобы говорить на нём. Поэтому выслушайте, что вам скажет вместо меня епископ Аррасский, кардинал Гранвелла⁹⁰».

«Плохая речь, сын мой», – говорит его величество.

И действительно, среди собравшихся поднимается ропот, они видят, как надменен и высокомерен молодой король.

Потом говорит королева, вознося государю хвалу, затем слово переходит к одному престарелому доктору, и, когда он кончил, его величество мановением руки благодарит его. После того как покончены все формальности и разглагольствования, его величество объявляет своих подданных свободными от присяги ему, подписывает утверждающие это документы, потом подымается с трона и уступает сыну своё место. И все в зале плачут. И император с приближёнными удаляется в домик в парке.

Здесь, оставшись одни, они запираются в зелёном зале, и император, захлебываясь от хохота, обращается к королю Филиппу, который не смеётся:

«Видишь ты, – говорит его величество, смеясь и икая, – как мало надо, чтобы растрогать этих людишек. Какой поток слёз. И этот толстый Маас, который в заключение своей длинной речи ревел, как телёнок. Да и ты как будто растроган, но недостаточно. Вот настоящее зрелище, каким надо потчевать народ. Сын мой, мы тем больше любим наших любовниц, чем дороже они нам стоят. С народами то же самое. Чем больше мы с них дерём, тем больше они нас любят. В Германии я терпел реформацию, в Нидерландах сурово преследовал её. Если бы немецкие государи остались католиками, я бы сам перешёл в лютеранство, чтобы конфисковать их владения, а они верят в мою преданность римско-католической вере и жалеют, что я покидаю их. Благодаря мне погибло в Нидерландах пятьдесят тысяч человек, – наиболее достойных мужчин

⁸⁹ «Медленно и долго говорит один старик» – Филипп де Брюссель, член тайного совета Нидерландов.

⁹⁰ Гранвелла (1517–1586) – сын министра Карла V, бургундского буржуа Перрено и сам – министр и ближайший советник императора, сумевший сохранить своё влияние при Филиппе II. Епископом Аррасским он стал еще в 1540 г. Филипп II, покидая Нидерланды в 1559 г., оставил его при правительнице Маргарите Пармской и сделал (1561) главой нидерландской церкви (в качестве архиепископа мехельнского). В 1561 г. папа возвёл его в кардиналы. Он был доверенным лицом Филиппа II (контролировавшего через него свою сестру-правительницу), проводником испанской самодержавной политики, направленной на подавление национально-освободительного движения Нидерландов, и руководителем религиозно-политического террора инквизиции. Он презрительно отзывался о народе, говоря: «Злое животное, именуемое народ», а народ прозвал его «Красной собакой» – по цвету кардинальской шапочки и за те потоки крови, которые пролил Гранвелла. Весной 1564 г. Филипп II уступил народному возмущению и убрал Гранвеллу из Нидерландов.

и самых прекрасных женщин, всё за ересь. Теперь я покидаю престол, а они хнычут. Не считая конфискаций, я добыл оттуда больше денег, чем могли бы дать Индия или Перу, – а они огорчены, что теряют меня. Я нарушил Кадзанский мирный договор⁹¹, я задушил Гент, я уничтожил всё, что могло мне помешать; вольности, права, привилегии – всё я подчинил власти моих чиновников, а эти простофили считают себя свободными, потому что им разрешено стрелять из луков и носить в процессиях их цеховые знамёна. Они чувствуют руку властелина: благодушествуют в клетке, воспевают и оплакивают меня. Сын мой, будь с ними, как я: милостлив на словах, суров на деле. Лижи, пока не пришло время укусить. Непрестанно клянись блюсти все их вольности, права и преимущества. Но, увидев, что они опасны, растопчи их. Не касайся их робкой рукой: тогда они – железные; но они оказываются из стекла, когда ты раздробил их тяжёлым кулаком. Не потому уничтожай еретиков, что они отвергли католическую веру, но потому, что они могут подорвать наше положение в Нидерландах. Те, которые нападают на папу с его тройной короной, легко справятся с государями, которые носят лишь одну корону. Сделай, как я, из свободы совести оскорбление величества, влекущее за собой конфискацию имущества, и всю жизнь, как я, будешь получать наследства. И когда настанет день, когда ты отречёшься или умрёшь, они скажут: «Ах, добрый был государь!» – и заплачут».

– Дальше ничего не слышу, – сказала Неле, – ибо его священное величество лежит на кровати и спит, а король Филипп, надменный и горделивый, смотрит на него без любви.

После этих слов Катлина разбудила её.

И Клаас в раздумьи смотрел в огонь, пылавший в глубине печи.

⁹¹ Кадзанский мирный договор был заключён в 1489 г. между дедом Карла V императором Максимилианом I и возмущавшимися против него фламандцами, которые, задержав Максимилиана в Брюгге, выпустили его, только добившись уступок. *Kadzant* – маленький городок в северо-западном углу Зеландии, недалеко от моря.

LIX

Покинув ландграфа Гессенского, Уленшпигель проехал через площадь перед замком; он видел сердитые лица придворных кавалеров и дам, но это мало тронуло его.

Во владениях герцога Люнебургского он встретил компанию *Smaedelyke broeders*, весёлых фламандцев из Слейса, которые каждую субботу откладывали понемножку денег, чтобы раз в год съездить в Германию.

С пением совершали они свой путь, сидя в открытой телеге, которую здоровенный амбахский конь шутя тащил по просёлкам и болотам герцогства Люнебургского⁹². Некоторые из них играли на скрипках, дудках, лютнях, волынках, производя страшный шум. Рядом с телегой иногда шёл пешком толстяк, игравший на *gommel-pot*, – видно, в надежде сбавить немного жиру.

У них уж приходил к концу последний флорин, когда они увидели Уленшпигеля с звонкой монетой в кармане. Затащив его в корчму, они угостили его там, чему Уленшпигель не противился. Но когда он заметил, что эти ребята перемигиваются и посмеиваются, подливая в его кружку, он догадался, что они замышляют что-то против него, вышел за дверь и стал подслушивать, что они там говорят. И вот он слышит:

– Это живописец ландграфа, – говорил толстяк – он получил там больше тысячи флоринов за картину. Угостим его хорошенько: получим вдвойне.

– Аминь, – ответили прочие.

Уленшпигель отвёл своего осёдланного осла в ближайший дом – шагов за тысячу; дал там девушке два патара, чтобы она за ним присмотрела, вернулся в трактир к своей компании и молча сел за стол. Они всё подливали и платили за него. Уленшпигель, позванивая графскими золотыми в кармане, сказал, что только что продал мужику своего осла за семнадцать серебряных талеров.

Так, обильно угощаясь, они двигались дальше под звуки дудок, волынок *gommel-pot* и забирая по дороге всех женщин, которые казались им подходящими. Они народили таким образом не мало детей; случайная подруга Уленшпигеля впоследствии тоже родила сына, которого назвала «Эйленшпигельчик»⁹³, – что по-немецки значит зеркало и сова, ибо, как немка, она не понимала прозвища своего случайного сожителя, а может быть, мальчик назван был в память часа, когда был сотворен. Он и есть тот Эйленшпигель, о котором ложно утверждают, будто он родился в Книттингене, в Саксонии.

Здоровенный конь мчал их телегу по дороге, навстречу деревням и трактирам. У одного из них с вывеской «*In den Ketele*» – «Корчма Котёл» – они остановились: уж очень вкусно пахло оттуда.

Приблизившись к хозяину, толстяк указал ему пальцем на Уленшпигеля и сказал:

– Это графский живописец: он платит за всё.

Трактирщик посмотрел на Уленшпигеля и был удовлетворён этим осмотром. Услышав звяканье флоринов и талеров, он уставил стол яствами и питьями. Уленшпигель ничего не пропустил. И всё звенели в его кармане монетки. Кроме того, он похлопывал себя по шапке, приговаривая, что там хранится самое большое сокровище. Так длилось пиршество два дня и ночь, пока, наконец, компания не обратилась к Уленшпигелю:

– Пора расплатиться и ехать дальше.

– Разве крыса, сидя в сыре, думает уйти? – ответил Уленшпигель.

– Нет.

⁹² Герцогство Люнебургское, на северо-западе Германии, составляет теперь часть прусской провинции Ганновер.

⁹³ Эйленшпигельчик – тут Шарль де Костер связывает своего Уленшпигеля с Уленшпигелем народных рассказов (швенки).

– А когда человек отлично ест и пьёт, тянет его к уличной пыли и к воде из лужи, полной пиваков?

– Нет.

– Ну и будем здесь сидеть, пока мои флорины и талеры служат воронкой, через которую льётся в наши глотки душу веселящий напиток.

И он приказал трактирщику подать ещё вина и колбасы.

– Я плачу, ибо теперь я ландграф, – сказал Уленшпигель за едой, – но когда мои карманы опустеют, что вы будете делать, друзья? Примитесь за мою шапку, в которой везде, и в тулье и в полях, зашиты червонцы.

– Дай пощупать, – закричали они.

И, захлёбываясь от удовольствия, они нащупывали пальцами монеты величиной с червонец. Но один щупал так настойчиво, что Уленшпигель отобрал у него шапку со словами:

– погоди, пламенный доильщик, ещё не настала пора для доения.

– Дай мне половину твоей шапки, – попросил тот.

– Нет, а то у тебя будет дурацкая голова: в одной половине свет, в другой потёмки.

И, передав трактирщику шапку, он сказал:

– Побереги её у себя, пока жарко. Я выйду на двор.

Трактирщик взял шапку, а Уленшпигель, очутившись на улице, перебежал туда, где был осёл, вскочил на него и доброй рысью помчался в Эмбден.

Увидев, что он не возвращается, его собутыльники подняли крик:

– Он удрал! Кто будет платить?

Трактирщик испугался и разрезал ножом оставленную ему шапку. Но между войлоком и подкладкой вместо червонцев оказались зашиты медяки.

Тогда вся ярость его обратилась на товарищей Уленшпигеля, и он кричал им:

– Мошенники, проходимцы, скидайте с себя платье, иначе не выпущу, – всё, кроме рубахи!

Вот они и расплатились своей одеждой и ехали в одних рубахах по горам и долинам: с конём и телегой они всё-таки не захотели расставаться.

И путники, встречая их в столь жалком виде, подавали им хлеб, пиво, иногда и мясо, ибо они говорили, что обобрали их грабители.

На всю компанию осталась у них одна пара штанов.

Так они и вернулись в Слейс в одних рубахах, но, несмотря на это, они плясали в своей телеге и играли на gommel-pot.

LX

А Уленшпигель в это время мотался на спине Иефа по низинам и болотам герцога Люнебургского. Фламандцы называют этого герцога Water Signorke (Водяной барин) – очень уж сыро в его стране.

Иеф слушался Уленшпигеля, как собака. Он пил пиво, танцевал под музыку лучше венгерского скомороха, прикидывался мёртвым и вытягивался на спине по малейшему знаку хозяина.

Уленшпигель знал, что герцог Люнебургский разгневан и взбешен против него за то, что в Дармштадте он так жестоко посмеялся над ним в присутствии ландграфа Гессенского; виселица грозила Уленшпигелю за пребывание в его владениях.

И вдруг он видит, что герцог собственной особой приближается к нему. Он знал, что герцог – жестокий насильник, и струхнул порядочно.

В страхе заговорил он с ослом:

– Видишь, Йеф, там приближается благородный герцог Люнебургский. Я чувствую, как сильно трёт мою шею верёвка. Надеюсь, не палач почешет мне шею: почесать – это одно, а повесить – это другое. Подумай, Иеф, мы с тобой точно братья: оба терпим голод и носим длинные уши. Подумай, какого доброго друга ты лишился бы, потеряв меня.

И Уленшпигель вытер глаза, а Иеф заревел.

– Живём мы вместе, делия дружно горе и радость, как придётся, – помни, Иеф, – продолжал Уленшпигель. – Осёл продолжал реветь, так как был голоден. – И ты никогда не забудешь своего хозяина, не правда ли, ибо ничто так не скрепляет дружбу, как общие печали и общие радости. Иеф, ложись на спину.

Послушный осёл повиновался, и герцог увидел торчащие вверх четыре ослиные копыта. Уленшпигель сидел уже на его животе.

– Что ты здесь делаешь? – закричал герцог, приблизившись. – Разве ты не знаешь, что в своём последнем приказе я под страхом виселицы запретил ступать на мою землю твоим грязным ногам.

– Помилуйте, господин, – отвечал Уленшпигель, – сжальтесь надо мной!

И, указав на осла, он сказал:

– Вы ведь знаете, что, по праву и закону, кто живёт между своих четырёх столбов, тот свободен⁹⁴.

– Убирайся из моих владений, – ответил герцог, – не то будешь повешен.

– О благородный повелитель, как стремительно вылетел бы я из этой земли, будь я окрылён одним-двумя золотыми.

– Негодай, – ответил герцог, – мало того, что ты ослушался меня: ты осмеливаешься ещё и денег у меня просить?

– Что делать, ваша милость, – раз я не могу отнять, приходится просить.

Герцог бросил ему флорин, и Уленшпигель обратился к ослу:

– Встань, Иеф, и приветствуй господина герцога.

Осёл вскочил и заревел. Затем оба скрылись.

⁹⁴ «...кто живёт между своих четырёх столбов, тот свободен» – юмористическая ссылка на неприкосновенность частного жилища.

LXI

Сооткин и Неле сидели у окна хижины и смотрели на улицу.

– Что, милая, – спросила Сооткин, – не идёт ли мой сын Уленшпигель?

– Нет, – ответила Неле, – мы уже больше не увидим этого дрянного бродягу.

– Не сердись на него, Неле, – сказала Сооткин, – а пожалей его: он ведь скитается где-то без приюта, бедный мальчик.

– Наверное, приютился где-нибудь в доме побогаче родного, у какой-нибудь пригожей барыньки.

– Я порадовалась бы за него, – сказала Сооткин, – может быть, сидит и ест жареных дроздов.

– Камнями накормить бы его, обжору, тогда бы вернулся домой! – закричала Неле.

Сооткин расхохоталась:

– Откуда такая ярость, дитя моё?

Клаас, в раздумьи связывавший хворост, отозвался из угла:

– Не видишь, что ли, что она по уши влюблена в него?

– Ах, скверная хитрая девчонка! – закричала Сооткин. – Ни звуком не выдала! Скажи, девочка, это правда, что он тебе по душе?

– Пустяки, – ответила Неле.

– Хорошего мужа получишь ты, – заметил Клаас, – с широкой пастью, пустым брюхом и длинным языком; мастер из флорина делать гроши; в жизни копейки не заработал честным трудом. Вечно шатается по дорогам, точно бродяга.

Но Неле вдруг покраснела и сердито возразила:

– А почему вы ничего лучшего из него не сделали?

– Видишь, до слёз довёл девочку, – сказала Сооткин, молчи уж, муженёк.

LXII

Добравшись до Нюренберга⁹⁵, Уленшпигель выдал себя здесь за великого врача, исцелителя всех немощей, достославного очистителя желудка, знаменитого укротителя лихорадки, всем известного освободителя от чумы и непревзойдённого победителя чесотки.

В больнице лежало столько больных, что уж не знали, куда их девать. Услышав о прибытии Уленшпигеля, к нему прибежал смотритель больницы узнать, правду ли говорят о нём, что он излечивает от всех болезней.

– Всех, кроме самой последней, – ответил Уленшпигель. – Но обещайте мне двести флоринов за излечение всех прочих болезней, – и я не возьму с вас ни гроша, пока все ваши больные не заявят, что они совершенно здоровы и уходят из больницы.

На следующий день с важным, учёным видом и уверенным взглядом он явился в больницу. Войдя в палаты и обходя больных, он наклонялся к каждому и говорил ему на ухо:

– Поклянись, что не расскажешь никому, что услышишь от меня. Чем ты болен?

Больной отвечал ему и клялся не выдавать.

– Дело вот в чём, – говорил Уленшпигель, – я должен одного из вас сжечь, из пепла его сделать чудодейственное лекарство и дать всем остальным. Сожжён будет тот, кто не может выйти сам из больницы. Завтра я приеду со смотрителем, стану на улице перед больницей и крикну всем вам: «Кто не болен, забирай пожитки и выходи на улицу!»

На другое утро Уленшпигель так и сделал.

Все больные – хромые, ревматики, чахоточные, горячечные – разом ринулись на улицу, даже те, которые уж десять лет не покидали постели.

Смотритель спросил их, верно ли, что они здоровы и могут бегать.

– Да, да! – кричали они, в уверенности, что кто-нибудь остался и что его уже жгут на дворе.

– Плати, – сказал Уленшпигель, – вот они все на улице и объявляют себя здоровыми.

И, получив двести флоринов, он поспешил убраться.

Но на другой день больные, ещё в худшем состоянии, стали возвращаться в больницу, – кроме одного, который от чистого воздуха выздоровел. Этот напился и бегал пьяный по улицам с криком: «Да здравствует великий доктор Уленшпигель!»

⁹⁵ Нюренберг – германский имперский город, в ту пору богатый и цветущий.

LXIII

К тому времени, как и эти двести флоринов разбежались во все стороны, Уленшпигель добрался до Вены, где поступил к каретнику, который очень сурово обращался с рабочими, так как они плохо управлялись с кузнечным мехом.

– Поспевай, поспевай! – кричал он то и дело. – Догоняй с мехами! Догоняй, догоняй!

Однажды, когда хозяин был в саду, Уленшпигель снял один мех, взвалил его на плечи и стал носить вслед за хозяином. Тот удивился, увидав его с этой необычайной ношей, но Уленшпигель объяснил ему:

– Вы же мне приказали, хозяин, догонять вас с мехом. Прикажете положить этот и пойти за другим?

– Нет, любезный, не так я тебе сказал; пойд и поставь мех на место.

Чтобы отомстить за эту насмешку, хозяин стал подыматься в полночь и будить подмастерьев на работу.

– Чего ты нас будишь среди ночи, хозяин? – спрашивали подмастерья.

– Такая уж у меня привычка: первую неделю мои рабочие должны проводить в постели лишь половину ночи.

Уленшпигель спал на полатах. Когда хозяин явился будить его, он взвалил себе тюфяк на плечи и явился в кузницу.

– Ты с ума сошёл! – закричал хозяин. – Зачем ты тащишь постель с собой?

– Такая уж у меня привычка, – отвечал Уленшпигель, – первую неделю я сплю на постели, вторую – под постелью.

– Хорошо, – сказал хозяин, – только у меня есть ещё одна привычка: наглых работников я выбрасываю за дверь, разрешая первую неделю спать на земле, а вторую – под землёй.

– Чудесно, хозяин, – сказал Уленшпигель, – значит, в твоём погребе, подле пивных бочек?

LXIV

Покинув каретника и возвращаясь во Фландрию, он поступил в учение к сапожнику, который охотнее торчал на улице, чем орудовал шилом в своей мастерской. Видя, как он уже в который раз собирается из дому, Уленшпигель спросил его, как кроить башмачные передки.

– Кроить для больших и малых ног, – ответил хозяин, – чтобы обувь годилась на всякого, за кем идёт крупный и мелкий скот.

– Хорошо, хозяин, – сказал Уленшпигель.

Когда сапожник вышел, Уленшпигель выкроил обувь, пригодную разве для кобыл, ослиц, тёлоч, свиной и овец.

Возвратившись в мастерскую, хозяин увидел кожу, изрезанную на мелкие куски.

– Что ты наделал, пачкун негодный? – закричал он.

– То, что вы приказали, – ответил Уленшпигель.

– Я приказал тебе выкроить башмаки, которые были бы пригодны для всех, за кем ходит скот – быки, свиной, бараны, а ты сделал обувь по ногам скота..

– Хозяин, – сказал Уленшпигель, – за кем же ходит боров, как не за свиной, в то время года, когда вся скотина влюблена: осёл – за ослицей, бык – за тёлоч, баран – за овцой; разве не так?

И он ушёл и остался без приюта.

LXV

Пришёл апрель. Вначале стояла мягкая погода, потом ударил мороз, и небо было пасмурно, как в поминальный день. Давно уже кончился третий год изгнания Уленшпигеля, и Неле со дня на день ждала своего друга.

– Ах, – говорила она, – погубят заморозки и цветущую грушу, и жасмин, и все бедные растения, которые, доверившись теплу преждевременной весны, распустили свои цветочки. Уж падают снежинки на дорогу; снегом засыпано и моё сердце.

Где ясные лучи светлого солнышка, озарявшие весёлые лица, делавшие красные крыши ещё краснее, а оконные стёкла ещё ослепительнее? Где они, согревавшие небо и землю, птичек и жучков? Ах, знобит меня днём и ночью от тоски и ожидания. Где ты, друг мой Уленшпигель?

LXVI

А Уленшпигель, голодный и холодный, добрался уже до Ренэ во Фландрии, но он не унывал, а старался шутками и прибаутками раздобыть себе пропитание. Но это плохо удавалось ему, и люди шли мимо и не давали ему ничего.

Было холодно; то снег, то дождь, то град падали на спину путника. Шёл он по деревне, – слюнки текли у него изо рта, когда он видел где-нибудь в углу собаку, грызущую кость. Он охотно заработал бы флорин, но не знал, как устроить, чтобы флорины попадали в его кошелёк.

Он искал наверху; там голуби, сидя на крыше голубятни, роняли вниз белые кружочки, но это были не флорины. Он искал на улице, но флорины не растут на мостовой.

Поискав направо, он увидел преподлую тучу, которая неслась по небу, точно громадная лейка, но он знал, что если что и польётся из этой тучи, то это никак не будет дождь флоринов. Поискав налево, он увидел здоровенный и никому не нужный дикий каштан, стоявший без дела.

– Эх, – сказал он, – почему это есть каштановые деревья и нет флориновых? Приятные были бы деревца!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.